

БОРИС ШИШАЕВ

## ВРЕМЯ ЛЮБВИ\*

РОМАН

### Глава двадцать третья

Дела намечались отрядные — Велешеву вскоре позвонили из областного центра, чтобы приезжал оформлять получение для больницы нового автомобиля и новейшего стоматологического оборудования.

Главный врач района, узнав об этом, на радостях предложил ему для такой поездки свою служебную машину с водителем, но Велешев отказался — решил ехать на автобусе. Во-первых, ему нравилось ездить, затерявшись среди людей и наблюдая за всем окружающим как бы из глубины самого себя, а во-вторых, ехал он с тем, чтобы, управившись со служебными делами, остаться в городе еще и на выходные.

В городе Велешеву на удивление быстро удалось оформить документы, необходимые для получения машины и зубоврачебной техники, и ему даже сказали, что получить это все можно прямо сейчас. Была пятница, и оставалось лишь сожалеть, что не взял с собой в поездку водителя. Но Велешев тут же решил, что худа без добра не бывает — позвонил в Поречье Володе на мобильный телефон, чтобы тот выезжал сюда к нему в понедельник самым ранним автобусом.

— А обратно, — сказал он шоферу, — поедем с тобой на новой машине.

— Буду как штык, Павел Андреевич! — обрадовался Володя.

Валерию Велешев заранее уведомил о своем приезде по телефону, и она сказала, что будет ждать его у себя на работе, объяснила, как найти в городе ее офис. Но до конца рабочего дня было еще далеко, и он решил наведаться в свою пустующую квартиру. Ехал по городу, смотрел на людскую, подобную муравьиной, суету и удивлялся мысленно: как мог жить в этой непрерывной сумятице столько лет? Конечно, имелось множество друзей, знакомых, случались радостные, окрыляющие события, испытывал фанатическое упоение работой. Но каким далеким от всего истинно Божеского, каким потерянным среди этого огромного скопища людей было сердце... Тогда он этого не чувствовал, стал понимать только теперь.

...Офис Валерии ему удалось разыскать довольно быстро. Это был небольшой двухэтажный домик в одном из глухих дворов центральной части

\* Окончание. Начало в № 7.

города. Войдя во двор с улицы через арку, Велешев сразу же увидел старинное неказистое зданье, а возле него машину — ту самую, в которой везли Валерию в Пореченскую больницу после ее падения с дерева. А у машины, протирая стекла, возился забывенный водитель Петрович.

— Батюшки!.. — возгласил он, увидев Велешева. — Да это никак наш доктор!

И ринулся к нему, долго мял и тряс ему руку, по-медвежьки переступая с ноги на ногу, с неподдельной радостью глядя в глаза.

— Навестить, значит, нас... — гудел Петрович. — Правильно! А я в тот день, когда мы отъехали от вашей больницы, сразу Беклешину сказал: “Знай, Беклешин: этот доктор не так себе, это божеский доктор”.

— Почему вы так решили?

— Ой, вот только не надо на “вы” — мне от этого тошно. А почему решил... А как же иначе было решать? Сергевна треснулась с дерева, у нас с Беклешиним рты корытом, и в это время... в сей же самый момент высккивает из кустов доктор. Спрашивается: откуда он взялся? Бог послал — вот откуда.

— Ну что ты, Петрович... — рассмеялся Велешев. — До Божеского посланника мне далеко.

— Ничего не далеко. Вон как вылечил ее! Мы думали — она, хряпнувшись с дерева-то, потише будет, а где там... Такой поднял ей тонус, что сама носится, как ветер, и нас всех гоняет, как сидоровых коз.

— Зря. После таких травм надо бы поосторожней.

— Вот и я ей говорю. Тебя, говорю, Сергевна, Бог пока еще с рук не скинул — послал тебе доктора в самый трагический момент. И ты это учти — приведи себя в нормальное смирение. Прекращай, говорю, озоровать, а то скинет с рук. Хряпнешься опять откуда-нибудь — и ни доктора тебе, ни Беклешина, ни Петровича.

— Ну, а она что же?

— Да пошел ты, говорит, Петрович. Гудишь мне тут в ухо, как шмель. Неугомонная — сам небось видел.

— Хм, пожалуй, что так. Мне ее там как найти-то?

— А это мы сейчас...

Петрович подошел к железной двери, нажал кнопку переговорного устройства, и оттуда что-то невнятно буркнул женский голос.

— Эльвира! — рявкнул водитель. — Тут к Сергевне доктор приехал — встрень как полагается!

Щелкнул замок, и дверь приоткрылась.

— По лестнице вверх — и в конце коридора, — напутствовал Петрович.

На втором этажике Велешева встретила стройная светловолосая девушка, тепло поздоровалась с ним.

— У Валерии Сергеевны сейчас посетитель, — сказала она, — но ничего, проходите.

Он распахнул дверь и оторопел. Валерия стояла посреди кабинета с каким-то мужчиной и обнимала его, глядя прямо на Велешева.

— Извините... — пробормотал Велешев.

И, прикрыв дверь, не помня себя, зашагал по коридору обратно.

— Павел Андреевич, вернитесь! — настиг его у лестницы голос Валерии.

— Так вы же заняты, Валерия Сергеевна, — обернулся он.

— Стой, тебе говорю!

Из двух кабинетов, расположенных с правой стороны, высунулись головы — люди недоуменно взирали то на него, то на нее.

— Марш по своим местам! — приказала Валерия.

Головы мгновенно исчезли, и она, четко стуча каблуками, устремилась к Велешеву. Мужчина неудельно торчал в дверном проеме ее кабинета, и Валерия крикнула ему:

— Славик, чего ты там толчешься? Быстро иди сюда!

Тот недоуменно развел руками и направился за ней. Валерия приблизилась вплотную к Велешеву и, прерывисто дыша, пылая вишневым огнем глаз, спросила:

— Ты с чего это бросился бежать?

— Да вижу, что ты занята...

— Угу, подумал Бог знает что.

Мужчина подошел к ним, и тут только Велешев разглядел, что он какой-то весь женоподобный, румянький, и на шее у него синий платок в горошек. Валерия схватила его за руку и подтащила поближе.

— Это Вячеслав, — сказала она, — мой старый добрый приятель... Мы знаем друг друга, наверное, уже сто лет и при встречах традиционно чмокаемся. И когда прощаемся — тоже. Вот так, — она чмокнула Вячеслава в щеку. — А ты, обитатель джунглей, что подумал?

— Подумал, что ты занята и войти в такой момент крайне неудобно.

— Ах, вон в чем тут дело... — всплеснув руками, нараспев произнес Вячеслав. И слегка коснувшись двумя пальцами велешевского плеча, словно пытаясь снять пылинку, добавил вдруг с невыразимым лукавым жеманством: — Ревнуете, изверг?

Велешева внезапно начал душить смех, и, не в силах сдержаться, он расхохотался. Вслед за ним залилась своим колокольчиковым смехом Валерия, а потом голосом взрослеющего барашка заблеял и сам виновник этого неожиданного веселья. Все трое никак не могли остановиться, но наконец-таки справились с собой, и Вячеслав сказал:

— Побегу, Лерочка, извини, что обременил. Всевозможного счастья тебе, дорогая. А вы, — с улыбкой протянул он Велешеву руку, — постарайтесь уж впредь не предаваться излишней категоричности. От этого все наши беды.

— Спасибо, — пожимая ему руку, ответил тот. — Если это было заметно, то постараюсь учесть.

Провожая Велешева в свой кабинет, Валерия сказала секретарше:

— Эльвирочка, пожалуйста, сооруди нам чайку и пожевать чего-нибудь.

— Сделаем, Валерия Сергеевна.

Едва только вошли в кабинет, как Валерия обняла его, прильнула к нему всем телом.

— Ну, беглец, и куда же ты вздумал бежать?

— Никуда. Хотел поболтать внизу с Петровичем — подождать, когда ты освободишься.

— Не лукавь. Я видела твои глаза.

— Хм, интересно, что ты могла в них усмотреть.

— Они были холодные, волчьи.

— Так уж прямо и волчьи... Ты лучше представь, какие были бы у тебя глаза, если бы ты оказалась в такой ситуации на моем месте. Кто он хоть есть-то, этот твой Славик?

— Известный в городе человек, лучший мастер.

— Мастер чего?

— Ну... парикмахер. Победитель многих конкурсов, даже международных. У него свой первоклассный салон. Я у Славика прическу делаю, и все мои девочки тоже. А мы делаем ему рекламу. Между прочим, несмотря ни на что... очень приличный человек, добрый товарищ.

— Нисколько не сомневаюсь.

Валерия коснулась губами его губ, и через мгновение утонули оба в длительном поцелуе. В голове у Велешева заволочло все туманом, пробежал по спине счастливым озноб.

Потом, сняв куртку и повесив ее на вешалку у двери, он внимательно оглядел не слишком просторное пристанище Валерии.

— Ну и как? — наблюдая за ним, спросила она.

— Уютно. Слава Богу, никакой казенной чопорности, поскольку обставлено и оформлено все с чисто женским вкусом.

— Ладно, почту за комплимент.

Вскоре Эльвира принесла на подносе чай, нарезанный лимон на блюдечке, конфеты, бутерброды и аккуратно разместила это все на небольшом столике в углу. Пожелав приятного аппетита, она направилась к двери, и Валерия сказала ей:

— Не соединяй меня ни с кем. День все равно уже кончается.

— Хорошо, Валерия Сергеевна.  
— Давай-ка — чем Бог послал, — подтолкнула Велешева к столу Валерия. — Как насчет того, чтобы по рюмахе за встречу?

— А что у тебя?  
— Коньяк. По-моему, неплохой.  
— Еще бы я отказался.

Когда он разлил коньяк по рюмкам, Валерия, подняв свою рюмку на уровне глаз, проникновенно глянула в глаза Велешеву и сказала:

— Я рада, что ты здесь, доктор.  
— И я рад, Валера.

После коньяка Велешев принялся вдохновенно уничтожать бутерброды, запивая их чаем. Валерия, прихлебывая чай, о чем-то думала. И вдруг объявила решительно:

— Мы вот что сделаем. Я тебя сегодня выгашу в общество.

— Куда это еще? За время наших отношений ты, наверно, успела заметить, что к человеческому обществу я отношусь крайне избирательно. И в данный момент не хотел бы видеть никого кроме тебя.

— Вот-вот. Задубел в своем индивидуализме. Тебе обязательно надо выбираться на люди.

— Да разве я не среди людей живу и работаю?

— Не спорь со мной. Когда я была у тебя, то по поводу наших мероприятий с тобой не спорила. Неужели не желаешь хоть немного скрасить свою пещерную жизнь?

— Может, еще скажешь, что от меня плесенью пахнет?

— Ну, до этого, слава Богу, пока не дошло... Брось упираться, Пашенька. Уверю тебя — не пожалеешь.

— Какое-нибудь публичное мероприятие?

— Интересный музыкальный вечер.

— Трясуны, что ли?

— Кого ты имеешь в виду?

— Ну, эти... Безголосые, которые ногами дрыгают и гитарами трясут.

— Пф-ф... Какой же ты все-таки мастодонт. Не бойся — настоящий вокал. Презентация нового диска Лии Бережной.

— А кто она такая?

— Ты разве не слышал? Прекрасная певица — лауреат конкурсов, одного даже международного.

— Тоже, значит, мастерица...

— У тебя будет возможность оценить ее мастерство. А потом фуршет, свободное общение.

— Так это все для избранных, что ли?

— На фуршет только по приглашению. Мне как раз прислали два. Все, Паша, не прекословь. Тебе обязательно надо как следует встряхнуться.

— Ладно, тащи меня туда. Давай встряхнемся среди избранных. Хотя могу предположить... что будут там одни только званые.

— Ты о чем?

— Да это я так, между прочим... — махнул он рукой. — Не обращай внимания.

## Глава двадцать четвертая

Дом, в котором проходил музыкальный вечер, Велешев помнил еще по студенческим временам — в нем тогда размещался музей комсомольской славы. Теперь потолок тут был высоко поднят в виде купола, к одной из стен примыкала сцена, а перед ней полукругом, в ярусном порядке, располагались зрительские кресла. И дом этот назывался теперь городским культурным центром.

В зале была хорошая акустика, и Бережная пела великолепно. Не слишком высокого роста, с прекрасной фигурой, которую эффектно облегало декольтированное фиолетовое платье до пят, с голубоглазым лицом и распу-

шенными по плечам светлыми волнистыми волосами, она излучала то особое очарование, которое именуется красотой простоты. У нее был прекрасный голос — довольно сильное лирическое меццо-сопрано, владела она им превосходно, и манера исполнения была артистичной в меру, без излишней картинной навязчивости. Пела Бережная по большей части классику — романсы и арии из опер, некоторые на итальянском языке. Аккомпанемент менялся — то это был один рояль, то присоединялись к нему еще и скрипка с виолончелью. Романс на слова Тургенева “Утро туманное...” она пела с таким проникновением, что в душе у Велешева поднялось все горячей волной, и комок подкатил к горлу. Валерия вдруг сжала его руку — наверное, и она испытала нечто подобное.

Однако раздражающе действовало на Велешева то, что певицу, едва только она заканчивала петь романс или арию, начинали мучить чествованием и поздравлениями. В самом начале вылез на сцену необъятных размеров, щекастый молодой мужчина — наверняка штангист в прошлом, а ныне крупный предприниматель, который финансировал выпуск презентуемого музыкального диска. Спонсор сказал несколько весьма топорных фраз о пользе культуры в России и о том, как он счастлив поддержать эту самую культуру в лице стоящей рядом с ним на сцене певицы, которая обладает соловьиным голосом.

Потом поочередно воздавали ей честь представители областной и городской администраций, ведомств культуры и образования, а вслед за ними посыпались со своими оригинальными, подчас отдающими нелепостью поздравлениями коллеги Бережной из филармонии, артисты драматического и молодежного театров, писатели и поэты.

Не обошлось и без “трясунов”, которых столь опасался Велешев. Ведущий объявил ансамбль “Эсминец”, и, потеснив певицу к самому краю сцены, выбрались на нее из-за кулис несколько одетых по-уличному молодых. Один из них, солист, правда, был одет совсем иначе — в розовой рубашке с широченными рукавами и блестящих, облегающих ляжки кожаных штанах, в общем-то, симпатичный белокурый парень. Ребята ударили по своим плоским инструментам и грянули панегирик в честь Лии Бережной.

Трудно было понять, почему они ассоциируют себя с эсминцем, то бишь с военными моряками, поскольку гораздо больше сходства имелось у них с партизанами, оруduющими прикладами и штыками. А барабанщик исторгал из своих тарелок и барабанов такие звуки, будто швырял гранаты и строчил из пулемета.

Солист стоял впереди и, четко притопывая каждой ногой, отведенной слегка в сторону, по два раза, с хрипотцой пел в микрофон:

*Волнистый волос, волшебный голос —  
В ней все по сердцу, все по уму.  
Надежд не строю, но все ж не скрою:  
Я так люблю мою куму!*

Публика начала в такт ему хлопать в ладоши.

— О какой это он куме-то? — поинтересовался у Валерии Велешев.

— Да Лидочка кума ему.

— Какая Лидочка?

— Бережная. Ее настоящее имя — Лидия. А это Серж Усольцев — они с Лидой у Каблукова дочку крестили.

— А кто такой Каблуков?

— О, Боже мой... Да вон он сидит — в первом ряду. Спонсор, который поздравлял ее первым.

— Хм, теперь вроде понятно.

Велешев замечал, как нелегко Бережной после каждого из этих панегириков снова обретать тот удивительный душевный, а скорее всего, и голосовой настрой, с которым она пела. Стараясь отрешиться от всего окружающего, молодая женщина некоторое время медленно прохаживалась по сцене, потом, наконец, подходила к роялю и кивала аккомпаниаторше. Велешеву

было жалко певицу, и к тому же его преследовало какое-то смутное чувство, будто ее лицо знакомо ему.

— Послушай, — тихонько сказал он Валерии, — почему ей без конца мешают петь? Зачем было превращать прекрасный концерт в такую несусветную кашу?

— Но ведь это же презентация.

— Неужели нельзя было сначала дать выступить ей со своей программой? А уж потом ее, отдыхающую, пусть бы терзали этими словесными выкрутасами и заваливали цветами.

— У презентаций всегда такой сценарий. Разве не видишь — ей приятно.

— Я вижу совсем другое.

— Ты всегда видишь совсем другое. Ладно, хватит. А то мы слишком громко.

Однако через некоторое время Велешев опять рискнул обратиться к Валерии с вопросом:

— А фамилия у нее тоже не настоящая?

— Лия Бережная — это для сцены, псевдоним. А на самом деле она Лидия Возницына.

— Возницына... А она замужем?

— С этим у нее пока что-то никак не решится. Хотя претендентов на ее руку — хоть отбавляй. А с чего это вдруг ты так заинтересовался?

— Да понимаешь... У меня ощущение, что где-то, когда-то я ее видел. Когда-то давно. И... Возницына... Фамилия вроде бы знакомая.

— Хм, странно. Где и как ты мог видеть ее давно, если ей всего-то лет двадцать семь.

— Сам не пойму. А почему она имя и фамилию другие взяла?

— Я же сказала — сценический псевдоним. Возницына, Лидия... Согласись, что не слишком впечатляет. А Лия Бережная — это звучит.

— Возницына — тоже вроде ничего. Имея такой прекрасный голос, стоило ли отказываться от своего истинного имени в угоду афишной красоты?

— Сейчас так принято. Зрителя завоевать непросто.

— Мне почему-то кажется, что если артисты, поэты и писатели начинают активно менять свои настоящие фамилии на более эффектные и благозвучные, то в России, значит, какой-то болезненный неурядок, какая-нибудь революция.

— Но ведь и раньше меняли.

— Угу. Особенно в начале прошлого века. Я как раз об этом.

— Ой, Паша... Да брось ты, в конце концов, с этими своими...

Когда презентация закончилась, и большая часть публики схлынула к раздевалке, а меньшая потянулась по лестнице наверх, где, судя по всему, должен был проходить фуршет, Велешев взял Валерию под руку и сказал:

— Может, не стоит нам туда? С какого боку пришеку мы там...

— Как это с какого? — едва ль не с обидой глянула на него Валерия. — Я Лидочке отнюдь не чужая — для ее имиджа мною немало сделано. А ты со мной. Слушай, Велешев: сколько можно комплексовать? Мы сейчас отлично расслабимся, мне тут кое с кем необходимо пообщаться по делу. Такие пирушки для деловых контактов самое то. А ты просто отдыхай и не дергай меня, а то я разозлюсь.

— Не надо. Мысленно я уже поднял руки вверх.

— С этой мыслью и расслабляйся.

В просторном зале наверху все было готово — на отдельных столиках, расположенных по всей площади, стояли напитки и фрукты, а закуски размещались на столах, сдвинутых в одну линию вдоль стены. Там каждый мог набрать себе в тарелку того, что ему больше нравилось, а потом найти пристанище у какого-либо из "питейных" столиков.

Певица в окружении своих друзей и почитателей стояла неподалеку от двери и, разговаривая с кем-то, в то же время напряженно поглядывала на входящих. Увидев Валерию с Велешевым, она вдруг устремилась к ним.

— Здравствуй, Лидочка, — обняла и расцеловала ее Валерия. — Ты, как всегда, была непревзойденна. Поздравляем тебя от души.

— Ой, Валерия Сергеевна... — порозовела от смущения виновница торжества. — Вы ко мне слишком добры. Какая уж тут непревзойденность — в такой-то сумятице...

Она вдруг повернулась к Велешеву:

— А вы... Ради Бога простите, что я так прямо... Вы ведь доктор Велешев?

— По-моему, да, — попытался сострить он.

— Дело в том... Короче, я совершенно случайно увидела вас в зале сцены и сразу узнала. И... хотите — верьте, хотите — нет... а с той минуты пела только для вас.

— Не знаю, что и сказать... — растерялся от такого признания Велешев. — Никак не могу догадаться, чем я заслужил столь щедрый подарок.

— Ну, конечно... — рассмеялась певица искренним счастливым смехом. — Разве легко вспомнить, если через ваши руки прошло столько людей, а с той поры пролетело целых тринадцать лет? Вы, Павел Андреевич, оперировали меня. А потом выхаживали, учили мужеству. Напрягите память: угловая палата и койка в углу, девочка Лида, у которой был врожденный порок сердца. Рыжая вислоухая собака — мягкая игрушка, которую вы, разговаривая со мной, все время трепали за ухо...

— Так, так, так... Рыжая собака... — отступив на полшага, напряженно вглядывался в ее лицо Велешев. — Господи... Седьмая палата. Лидочка Возницына, на редкость понятливая и терпеливая девочка. Папа — Игорь Васильевич, конструктор оборонного завода, мама — Ольга Викторовна, преподаватель музыкального училища.

— Все-таки вспомнили! — просияла Лидия. — Так как же мне было не петь сегодня только для вас, если я и живу, и пою только благодаря вам, дорогой мой Павел Андреевич?

— Лидочка, ты... вы...

— На “ты”, Павел Андреевич, только на “ты”.

— Ты стала удивительная. И несмотря на все мое музыкальное невежество, поверь, что твое место на лучших сценах страны, а может быть, и мира.

— Ох, Павел Андреевич... Лучшие сцены страны обнесены глубокими рвами и множеством рядов колючей проволоки. Чтобы все это преодолеть, нужны немислимые сила и ловкость, а у меня таковых, боюсь, что не слишком-то.

— Но мы с тобой зря, что ли, учились мужеству? Надо преодолеть.

— Попробуем.

Велешев глянул на Валерию — ее глаза были полны слез.

— Не смотри на меня, — сказала она, — а то я разревусь окончательно. Вы мне всю душу разбередили.

Однако они, трое, начинали становиться центром внимания, и фуршету, судя по всему, пора уже было положить вмятное начало. За отдельно накрытым столом Лидию ждали спонсор и другие официальные лица, и, глянув туда, она сказала:

— Мне надо продолжать играть свою роль. Если можно, я к вам потом еще подойду.

— Обязательно, Лида, — коснулся ее руки Велешев.

У ленты столов с яствами толпился народ, и, с немалыми трудностями набрав себе в тарелки закусок, Валерия с Велешевым стали высматривать, куда бы лучше приткнуться. И в это время к ним подошел молодой человек — судя по всему, из обслуги.

— Извините, — сказал он, — меня попросили проводить вас к вашему столу.

Он провел их через весь зал к противоположной стене, где стоял единственный из всех не занятый никем столик с напитками и фруктами. На нем лежала табличка с надписью “занято”. Парень убрал табличку и с обворожительной улыбкой предложил:

— Утощайтесь на здоровье.

— Спасибо вам, — ответил Велешев, — и передайте нашу благодарность человеку, который попросил вас оказать нам эту услугу.

— Обязательно передам.

В центре стола стояли в вазе крупные розы. На других столах никаких цветов не было.

— Так-то вот оно, доктор... — смотрела Валерия в глаза Велешеву проникновенным затуманенным взором. — Это твой звездный час. А мне пришлось тащить тебя сюда чуть не на канате.

— Да, Валерушка... — вздохнул он. — Кто бы мог подумать... Конечно, для хирурга это звездный час. Но сколько было других часов. Совсем других...

— Прекрати! — дернула она его за рукав. — Наслаждайся этим часом.

За ведущим столом провозгласили здравицу в честь певицы и завершили ее отрывистым “ура”.

— Ур-ра!!! — словно очнувшись, рявкнул вместе со всеми Велешев, да с такой силой, что Валерия отпрянула и прижала руки к груди.

— Господи... Ты меня заикой, что ли, хочешь сделать?

— Я начал наслаждаться этим часом.

Они выпили за Лидию, потом поддержали здравицу и в честь ее спонсора. Празднество понемногу разгоралось — люди становились раскованнее, разговоры стали громче. Валерия, ловко уничтожая съестное, все чаще стреляла взглядом по залу и, наконец, погладив Велешева по плечу, спросила деланно-стыдливом тоном:

— Пашенька, ты не обидишься, если я тебя ненадолго оставлю? На таких тусовках, как правило, решается немало деловых проблем.

— Дело есть дело, — тепло сжал он ей руку. — Действуй и за меня не волнуйся.

Валерия прошла по залу между столиками, кивая направо и налево, и присоединилась к группе мужчин и женщин, окруживших стол в самом центре. Там, похоже, обрадовались ее появлению — засмеялись и оживленно заговорили. А к Велешеву вскоре подошла Лидия. Она держала в руке бокал, в котором было немного вина.

— Хочу выпить с вами, Павел Андреевич.

— Рад выпить с тобой и за тебя, Лидочка.

— Нет, давайте за нас обоих. Сегодня наш с вами день.

— Ну, хорошо. За то, чтобы почаще ощущать такое вот счастье.

— Да, за то, чтобы почаще.

Он звякнул своей рюмкой о ее бокал, и они выпили.

— Мы всегда вспоминаем о вас, Павел Андреевич, — сказала Лидия. — И папа, и мама, и я. Знаем, что вы уехали работать в район...

— Да, так сложилось. Многие это не одобряют.

— Действительно, болтали тут всякое... А папа сразу сказал: если доктор Велешев уехал туда, значит, так и должно быть. Мы по-прежнему верим в вас.

— Надо же... Вот уж не думал, что где-то оказывают мне такую моральную поддержку. Передавай им привет.

— Мы все были бы рады видеть вас у себя.

— В этот приезд вряд ли. Если только в другой раз как-нибудь...

— Я понимаю, что вы заняты. Но все-таки... возьмите вот мою визитную карточку. Может, в другой раз...

— Спасибо, голубушка, но я ведь не спросил о главном. Как твое сердце?

— Оно в порядке. Только чувствует все очень остро и временами устает от этого.

— Ему нельзя давать уставать. И сейчас, по-моему, ты уже должна отдыхать.

— За мной прислали машину. Надо бы еще побыть тут, но я, в самом деле, устала.

— Иди и не задерживайся.

— Можно я вас поцелую, Павел Андреевич?

Не дожидаясь ответа, она поцеловала его в щеку, потом на мгновение прижалась к ней своей щекой. И пошла вдоль стены к выходу, не глядя ни на кого.



Велешев поискал глазами Валерию — она стояла уже в другой стороне зала и с другими людьми. Он повернул голову и едва не вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял мужчина — этаким могучий, просторный весь какой-то и одетый весьма обыденно. Обликом своим он очень напоминал Тургенева — такое же широкое, располагающее к себе лицо, умные глаза под высоким лбом, грива седеющих, свинцового цвета, волос и того же оттенка окладистая борода. В одной руке он держал тарелку с закуской и вилок, а в другой — рюмку.

— Покорнейше прошу извинить меня, — сказал внушительный незнакомец, спокойно пристраивая на столе свои тарелку с рюмкой, — но я имел несчастье несколько опоздать на это пиршество, и куда ни сунусь — водки везде уже с гулькин нос, осталась одна кислятина. А у вас тут, смотрю, водочка пока имеется, и пребываете вы в гордом одиночестве. Не жалко поделиться благословенным напитком?

— Не жалко. Употребляйте, пожалуйста.

Незнакомец наполнил свою рюмку до краев, поднял ее и пробормотал себе под нос:

— С Богом, за Лидочку Возницыну. Она — святая душа.

И опрокинул водку в рот единым махом, подцепив на вилку маслину, закусил. Потом сжевал еще и кусочек ветчины, удовлетворенно вздохнул и, прицельно глянув на Велешева, спросил:

— Вы кто?

— Человек, — едва заметно усмехнулся Велешев. — Как видите, мужского полу.

— Хм... Что мужского — это хорошо. От женского полу у меня почему-то иногда икота начинается. А человек вы или нет — надо еще посмотреть. Сейчас пока не до этого — я хочу еще одну рюмку пропустить. Водка вроде бы не паленая. Вы не возражаете?

— Нисколько.

Незнакомец выплеснул в себя водку, закусил, как и в прошлый раз, и опять устремил свой слегка насмешливый взор на Велешева:

— Так-с... — засунув руки в карманы брюк, упруго качнулся он с пятки на носки. — Ну и как вы себя чувствуете в побежденной стране?

— А с чего это вдруг вы столь озаботились моим самочувствием? — усмехнулся Велешев.

— Отнюдь не только вашим.

Над головами пирующих разнесся вдруг протяжный клич ведущего:

— А теперь, господа... по-тан-цу-у-ем!

И ансамбль “Эсmineц”, разместившийся на возвышении у задней стены зала, грянул из всех своих “орудий” и “пулеметов”. Публика ринулась туда, и вскоре уже добрая половина ее колыхалась в танцевальной толчее. “Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо — я это знаю!..” — лихо пританцовывая, пел Серж Усольцев.

Неведомо откуда перед Велешевым возникла Валерия — возбужденная, разругавшаяся, сверкающая глазами. Но едва только она раскрыла рот, как неожиданный собеседник Велешева, видимо, знающий ее неплохо, выставил перед ней ладони:

— Стоп, Валерия Сергеевна! Низжайше вас прошу, несравненная: не называйте меня по имени. А поскольку вижу, что вы всецело устремлены к этому господину, то и его анкетных данных, пожалуйста, не выдавайте. У нас с ним, кажется, намечается тенденция к тому, чтобы остаться друг для друга таинственными незнакомцами. Так интересней. Ы-ик! — вдруг совершенно непритворно икнул он.

— Что это с вами? — Валерия сумела-таки удержаться — не назвала его по имени. — Съели что-нибудь не то?

— Да нет, мало выпил. Понимаю, что неудобно икать при женщине. Простите уж, горлица моя. Ы-ик!.. Честное слово, от меня это не зависит. Такой проект природы.

— Нелегко вам, наверно, живется по такому проекту, — рассмеялась она.

— Ничего, живем. Грех обижаться на волю Божию.

Велешев наблюдал за ними со сдержанной усмешкой.

— Пойдем разомнемся, — повернулась к нему Валерия. — Хватит тут киснуть.

— Не обижайся, но такая разминка не по моей части. Не умею.

— Да чего тут уметь? Топай, как я, и оторвемся по полной. У меня уже ноги на месте не стоят — так хочется наплясаться от души.

— Наплясывайся, а я подожду.

Мужчина налил водки ему, потом себе и спросил:

— За что пьем?

— За все хорошее.

— Ну что ж, с Богом.

Чокнувшись рюмками, выпили и стали молча закусывать. Велешев произвольно остановил свой взгляд на руках незнакомца и мысленно отметил, что они отнюдь не аристократические. Это были истинно рабочие ладони — крупные, бугроватые, узловатые.

— Вы правильно делаете, — сказал общительный великан, ковыряясь вилкой в своей тарелке. — Чтобы составить о человеке наиболее точное представление, лучше смотреть не на его лицо, а на его руки.

— Вы же копаетесь у себя в тарелке, — застигнутый врасплох, ответил Велешев с некоторым раздражением, — и как-то еще ухитряетесь замечать, куда я смотрю.

— Чувствую.

— А я чувствую, что вам очень уж хочется поговорить.

— Конечно. Надо же нам как-то найти общий язык.

— Разве это обязательно? Честно говоря, я что-то не слишком расположен сейчас к общению.

— Расположим.

— Интересно, каким же это образом? — усмехнулся Велешев.

— Ответьте на мой вопрос, который я вам задал после второй рюмки, а там, глядишь, и пойдет всё как по маслу.

— Я вообще-то уже забыл, какой вопрос вы мне задали после второй рюмки. Кажется, что-то насчет побежденной страны...

— Да, я спросил, как вы себя чувствуете в побежденной стране. Паскудно, не правда ли?

— Ну... я бы не сказал, что настолько уж все побеждено...

— Разумеется, есть пока еще островки... — вздохнул незнакомец. — Вот я причалил к вам — думаете, единственно лишь водкой вашей соблазнился? Да нет, не только. Смотрю, стоит совершенно новый тут для меня, отдельный от всех, одинокий человек. И, верите ли, сразу же ощутил изда- лека, что веет от вас чем-то этаким... Дай-ка, думаю, подойду — а вдруг это островок.

— Не знаю, сумею ли оправдать вашу надежду. К тому же вы, наверно, успели заметить, что не столь уж я здесь и одинок.

— Можете считать так, но со стороны виднее. А что касается моей надежды — вдруг да оправдаете.

— Так вы, значит, пришли сюда островки выискивать?

— Я вас не выискивал. Вы сами бросились мне в глаза. А пришел я Лидочку Вознищину поздравить. Она удивительный островок, окруженный холдными айсбергами. Слава Богу, успел — встретил ее на лестнице. А больше здесь, пожалуй, и выискивать-то нечего.

— Тогда что же вы тут делаете?

— Да, наверно, то же, что и вы. Пью водку, наблюдаю за раздвоением личностей, считающих себя цельными, и глотаю горькую пыль одиночества.

— Вас так интересуется раздвоение личностей?

— Конечно, интересуется. Это же главная беда России. Мне таких личностей очень жалко. А вам разве не жалко этих побежденных?

— Видите ли... У меня как-то не было времени к ним присматриваться.

— Но ведь наверняка вы имеете представление о том, какие трагические последствия ожидают человека с двойным дном.

— Об этом, пожалуй, имею представление, — согласился Велешев. — У человека с двойным дном действительно незавидная судьба. Фальшивое дно у него рано или поздно проваливается от вранья, а подлинное дно становится дырявым от длительного неупотребления. И такие люди в самом деле являются собою жалкое зрелище.

— Ну вот, значит, все-таки и вы присматриваетесь. А если учесть, что сейчас все большее количество людей предпочитает иметь в себе вместо одного надежного дна два столь ненадежных, наверно, нетрудно представить себе и то, какую беду может сотворить с нашим прохудившимся обществом любая грозовая туча.

— Мы с одним моим добрым приятелем умудрились как-то однажды докопаться до вывода, что потемки над обществом сгущаются тогда, когда для многих не только чужая душа — потемки, но и своя собственная.

— Похоже, у вас хороший приятель. Да и вы, кажется, начинаете оправдывать мою надежду.

— Не обольщайтесь раньше времени, — усмехнулся Велешев. — Вдруг да у нас с вами обнаружатся серьезные расхождения во взглядах на человеческое бытие.

— Почему-то чувствую, что серьезные — едва ли. Думаю, вряд ли вы будете оспаривать хотя бы тот факт, что русский человек всегда страдает от одного и того же.

— Отчего же это, по-вашему? — спросил Велешев.

— Русский человек даже когда чувствует, видит, что от таких-то и таких-то обстоятельств может нагрянуть беда, то продолжает жить дальше по инерции, абсолютно ничего не предпринимая для изменения этих обстоятельств. Дескать, авось, обойдется. А когда беда нагрянет, когда она заставит настрадаться вдоволь, и душу вывернет наизнанку, тогда он начинает думать. Беда уже случилась, и необходимо решительно действовать, чтобы устранить ее последствия, но нет — в это время русский человек думает. Думает напряженно, сосредоточенно: как же все это произошло, по каким причинам, и что надо было бы сделать, чтобы этого не произошло? И долго еще будет “раскладывать по полочкам” все случившееся, будет продолжать заниматься этим, пожалуй, даже и тогда, когда в глаза станут бросаться обстоятельства, которые могут привести к новой, еще большей беде. Разве не так?

— Хм... С этим, пожалуй, нельзя не согласиться. И что же нам — не русскими надо было родиться, а другими какими-нибудь?

— Да Боже упаси. Этого еще только не хватало. Но... честно говоря... Я иногда думаю, что в России лучше всего быть дураком. А если не повезло родиться таковым, то уж хоть научиться бы притворяться им, и жить будет гораздо легче.

Разговаривали они под гром “Эсминца” — ансамбль выдавал все новые и новые ритмы, и Серж Усольцев теперь уже не пел, а изгибаясь и разгибаясь, зверски ревел на саксофоне. Большинство публики толклось там, лишь некоторые, беседуя, коротали время у столиков. Голову Валерии Велешев углядел в самом центре танцующих. Собеседник Велешева уловил его взгляд и посоветовал:

— Дышите ровней. Примечаю, что непривычны к восприятию этого популярного акта самозабвения.

— Слишком уж громкое самозабвение, — ответил Велешев.

— Дорогой мой, времена тихих самозабвений канули в Лету.

— Ну, это у кого как. Вы сказали, — решил Велешев вернуть разговор в прежнее русло, — что в России лучше всего быть дураком или хотя бы научиться притворяться таковым. Но ведь это притворство означало бы, что вы обзавелись вторым дном.

— Вот то-то и оно. Претит. А если бы не претило, то я бы таким дураком притворился, что на меня все благотворительные фонды работали бы. Не-ет, на побежденных пространствах родной страны надо как-то уживаться с согражданами в том своем облике и с тем устройством натуры, которые даны тебе от Бога.

— Вам это удается?

— Э-э, незнакомый вы мой... Ужиться с человеком, к которому твое сердце не расположено и который равнодушен к тебе, — да нет ничего проще. А вот попробуй-ка уживись с тем, кого любишь, — эта задача куда как посложней. Ведь чаще всего нас и губят-то те, кого мы любим. Н-да, любить нынче очень тяжело.

— Наверное, это всегда было нелегко.

— Всегда было нелегко, но сейчас особенно.

— Почему так считаете? — внимательно глянул на собеседника Велешев.

— Суровый промежуток истории. Бесхозные полчища побежденных, звездный час для артистов лжи, самодельных и профессиональных предателей. Преобладание честолюбивой интриги над верностью и преданностью. Продолжать или не стоит?

— Не стоит. Но ведь надо же как-то жить и любить.

— Надо. Выветриваться ни в коем случае нельзя. Вопрос только в том, какое средство может лучше всего спасти от выветривания. Над этим не думали?

— Специально не думал... — Велешев несколько помедлил. — Но, по моему, оно напрашивается само собой.

— Интересно, что же у вас там спросилось.

— Терпение. Если любишь, то нельзя разочаровывать свое терпение, нельзя его предавать. Оно главный признак твоей веры в силу любви.

— Все-таки не зря вы бросились мне в глаза, и не зря я подошел к вам. Если бы вы не были незнакомцем, то я бы взял вас сейчас за уши и расцеловал в обе щеки. Конечно, терпение — что же еще может спасти нас среднеоголтелого разгула злой воли? “Теперь ваше время и власть тьмы”, — сказал Христос, когда его предали и стали над ним издеваться. Кто способен проявлять истинное терпение, тот наделен не только умением ждать и страдать. Он умеет верить самому себе, он верит в победу и пробивает дорогу к ней. Да терпение само по себе уже и есть победа.

— Может, нам все-таки познакомиться? — спросил Велешев.

— Не надо. Лучше останемся друг для друга про запас. Бывают ведь моменты, когда позарез нужен человек, который способен тебя понять несколько больше, чем все остальные. Потянет меня к вам — я вас быстренько разыщу. Имею предположение, что вы из тех, по кому я вполне могу соскучиться. Почувствуете вы нечто подобное — то же, пожалуйста. Как видите, я отнюдь не похож на иголку в этом разворошенном грешными ветрами стогу. Глянем, сведет ли нас жизнь еще хоть раз вместе. Ей виднее и она мудрее. И ведь так интересней. Пойдет?

— Что ж, давайте попробуем. Но в таком случае, наверно, уж надо хотя бы руку друг другу пожать.

— А вот это уж само собой.

И они с облегченным смехом обменялись крепким рукопожатием.

“Эсминец”, похоже, устал — выдав последнюю “пулеметную” дробь, умолк, и танцевавшие рассеялись по залу, чтобы утолить возросшую жажду. Благо, на столах еще кое-что оставалось. Валерия вернулась к столу разгоряченная, сияющая, с проявившимся во всем ее облике чем-то неумно-девичьим, пожалуй, даже мальчишеским.

— Ну? — пытаюсь усмирить дыхание, оглядела она мужчин. — Вы тут рассекретились, в конце концов, или нет?

— Нет, Валерия Сергеевна, — на сей раз без икоты ответил собеседник Велешева. — Мы решили остаться друг для друга неприкосновенным запасом. Кто живет в нынешнее лихое время без “НЗ”, тот, по моему, совершает непоправимую ошибку. А вы, дорогая, после столь стремительных скачков выглядите поистине великолепно.

— Спасибо. П-п... — едва не назвав его по имени, она с притворным испугом приложила пальцы к губам. — Знаю, что вы умеете ценить женщин по-настоящему. А вот ваш собеседник, к сожалению, не слишком щедр на комплименты.

— Не спешите с выводами, Валерия Сергеевна, — ответил мужчина. —

Не надо прибегать ни к каким оптическим приборам, чтобы разглядеть, каким восхищением по отношению к вам пылает сейчас его сердце.

— Куда тут денешься, — пожав плечами, смущенно улынулся Велешев, — приходится признать, что примерно так оно и есть.

— Да я смотрю, — пытаюсь выдержать серьезный тон, вскинула брови Валерия, — вы хоть и не познакомились, а спеться успели прилично. Но истинно джентльменского чутья все-таки вам обоим не хватает. Скорее налейте мне вина — у меня же в горле все пересохло.

— Ах, лапти мы лыковые! — всплеснул руками незнакомец. — Стоим — рот корытом, и не можем догадаться. Сейчас, сию минуту, страдалица вы наша... — Он повернулся к Велешеву: — Вы позволите мне оказать вашей даме эту честь? У нас с вами, кстати, водочки тоже “на посошок” осталось.

— Наливайте не медля, — ответил Велешев.

Когда было всем налито, незнакомец, поднимая свою рюмку, сказал:

— Ну, коль уж руль в моих руках, то... за ваше самоцветное сияние, Валерия Сергеевна! И за вас, мой запасной единомышленник, — сделал он рюмкой знак Велешеву, — за наше с вами приятное знакомство. Не возражаете?

— Всецело поддерживаю.

Выпили, и общительный незнакомец сразу же стал прощаться. Он галантно поцеловал Валерии руку и попросил:

— Вы уж, пожалуйста, не выдавайте нас с ним друг другу, Валерия Сергеевна. Бережно сохраните наше взаимное “некто”.

— Ну и чудачки вы... — рассмеялась она. — Лучше бы взяли да и познакомились хоть напоследок. В таком-то возрасте взялись, как дети, играть в тайны.

— Вот в том-то вся и ценность, — склонившись, заговорщически прошептал он ей в ухо.

И еще раз крепко пожав руку Велешеву, мягким пружинистым шагом направился к выходу.

— Ох, чудачки... — с усмешкой качала головой Валерия. И через мгновение спросила Велешева: — Хочешь узнать, кто он такой?

— Ну зачем же? — опешил тот. — Мы ведь договорились. Если только... твоё мнение о нем как о человеке. Вы, судя по всему, неплохо знакомы.

— Он... простой, но... очень сложный.

— Хм, весьма исчерпывающе.

— Ну, то есть... во многом такой же непонятный, как и ты. Также, кстати, классный специалист, редкий мастер, только совсем в другом деле.

— Биографических деталей не надо. Нам не пора отсюда?

— Пошли. Я звонила Лёнке — он уже ждет нас на улице в машине.

## Глава двадцать пятая

Квартира у Валерии с сыном была отнюдь не тесная и с первых же минут пребывания в ней показалась Велешеву очень уютной. Во всем чувствовались хороший вкус и рука опытной хозяйки.

В просторной прихожей свободно размещалось все необходимое для этой части жилья, а широкая кухня смыкалась через арку с гостиной, обставленной с максимальными удобствами. Оригинального фасона буфет с изящной посудой, мягкие, креслицами, стулья, инкрустированный стол с волнистыми, без углов, краями, оттоманка у стены. Два глубоких кресла в углу с торшером и фигурной тумбочкой между ними, музыкальный центр, большой плоский телевизор — все это, с добавлением картин, висящих на стенах, и прочих близких к искусству атрибутов, являло собою весьма удачный ансамбль, располагающий сколь к полноценному отдыху, столь же и к поддержанию у хозяев чувства собственного достоинства.

Кроме гостиной имелись еще и две изолированные комнаты — одна была Ленкиной резиденцией, а другую занимала Валерия. И здесь тоже все убедительно соответствовало как житейским потребностям, так и духу времени.

— Ну, братцы, — сказал Велешев, — вы живете по-королевски. Мне уж теперь даже стыдно, что принимал вас у себя в такой сермяжной обстановке.

— Да бросьте вы, Павел Андреевич, — ответил Ленька. — Мне ваша обстановка в тысячу раз больше нравится. У вас же там классикой веет, историей.

— В самом деле, доктор, — поддержала сына Валерия, — в твоём именице какой-то особый дух, своя необъяснимая прелесть. Будто бы нечто чеховское или бунинское...

— Чем больше вы меня в этом убеждаете, — с шутливой обреченностью вздохнул Велешев, — тем острее я сознаю, как далеко позади оставила меня цивилизация. Я уж, наверно, и сам-то представляю собой что-то вроде экспоната.

Валерия, распахнув глаза, восторженно воззрилась на него.

— Точно! Ты экспонат. Ух, как здорово! — захлопала она в ладоши. — Я тебя теперь Экспонатом буду звать.

— Этого еще не хватало... — мрачно пробурчал Ленька.

— Не горюй, Леня, — с улыбкой успокоил его Велешев. — Разве это не почетно звучит? Только вот в рамку меня, пожалуй, не вставить — вряд ли влезу хоть в какую-нибудь.

— Ладно, долой всякие рамки, — скомандовала Валерия, — и быстренько к столу.

Стол в гостиной был уже снабжен выпивкой и закуской — все это приготовил Ленька, пока Валерия знакомила Велешева с квартирой. Бросив взгляд на эти яства, Велешев посмотрел на Валерию и сокрушенно вздохнул:

— Опять?

— Что значит “опять”? Мы грелись у чужого огня, а разве грех погреться у своего? И потом — ты приехал к нам, Ленька тоже ждал тебя, старался тут, и должны же мы все вместе отметить эту встречу! Слушай, мне как лучше — обидеться или разозлиться?

— Ни то, ни другое, — выставил перед собой ладони Велешев. — Ты абсолютно права. И правильно решила звать меня Экспонатом.

— Ну вот то-то же. По коням, мужики! Аллюр три креста!

— Ты, мама, только уж своего-то коня сильно не разгоняй, — посоветовал Ленька.

— Ленечка, ангел мой! — Валерия взяла его за щеки и поцеловала в лоб. — Неужели ты не знаешь, как я умею смирять бег своего иноходца?

— Знаю, мамуля, — изображая покорность, кивал он. — Хорошо знаю и тебя, и твоего иноходца.

Выпили за встречу. Валерия — легкого вина, а Велешев с Ленькой — водки, и как ни странно, а в столь позднее время разыгрался у всех аппетит. Основным блюдом было мясо под соусом, большими плоскими порциями, а к нему — жаренный крупными дольками хрустящий картофель. И уничтожал Велешев и то, и другое с полнейшим самозабвением. Столь аппетитное блюдо, оказалось, приготовил заранее Ленька, а теперь оно было лишь подогрето в микроволновке.

— Ты умеешь так сокрушительно готовить? — удивился Велешев.

— Да чего там... — смутился тот. — Подсуетился малость, только и всего.

— С детства любил помогать мне на кухне, — с некоторым оттенком гордости сказала Валерия. — И в любой кулинарной возне проявлял неумную фантазию. А теперь это у него прямо-таки хобби.

— Угу, — усмехнулся Ленька. — Неотвязное, устойчивое хобби. А вообще-то мне в самом деле нравится готовить. Уходишь в себя, уравновешиваешься как-то весь... Да только вот... стать настоящим убежищем и светильником для самого себя пока что-то не получается. Помните, — глянул он на Велешева, — у вас говорили об этом?

— Хорошо помню, Леня, — кивнул тот. — Но тебе, по-моему, вряд ли стоит сейчас огорчаться по такому поводу.

— Почему так считаете? Думаете, не понимаю, как важно научиться

этому в наше базарное время? Честно говоря, мне бы очень хотелось. Если прикинуть как следует — надежная самозащита без оружия.

— Да видишь ли... — вздохнул Велешев. — Люди обычно укрываются в своем безопасном жилье во время бури. Примерно то же самое происходит с человеком, когда на него обрушиваются несчастье, какая-нибудь тяжелая скорбь. Он углубляется в самого себя и начинает пересматривать в себе все. А для тебя, наверно, буря пока еще не грянула.

— Так что же — ждать, когда она грянет? Светильник-то... может, лучше наладить заранее? Чтобы глянуть в самого себя как следует, что там надо переставить, что подзакрепить...

— А это чем раньше, тем лучше. Я вот, например, спохватился только тогда, когда буря уже грянула, и мыкался в своей душе в потемках.

— Та-ак... — сказала Валерия. — Похоже, сыночек мой тоже начал увлекаться самокопательством. Братцы, нынче ведь и без вас хватает всяких копателей. Есть гробокопатели, есть какие-то черные копатели, которые ищут в земле оружие и боеприпасы, а теперь вот прямо на глазах возникает еще и содружество самокопателей. Дорогие вы мои! Ну что толку без конца копаться в себе? Не лучше ли направлять свои поиски в жизнь? Отыскивать в ней то, что светит тебе, греет тебя, окрыляет, и добиваться этого, завоевывать это.

— Главное только, — спокойно посмотрел ей в глаза Велешев, — чтобы это был не такой свет, от которого человек слепнет, и чтобы это была не та окрыленность, которая предвещает падение.

— Ах, как все у вас просто!.. — всплеснула руками Валерия.

— Да не так это и просто, Валера, — поймал и осторожно положил на стол ее руку Велешев. — Поверь уж мне, что гораздо сложнее, чем делать операцию на чем-нибудь сердце, завоевывать почет и материальные блага. По-моему, в душе каждого человека имеется темный угол, куда он прячет свои подлинные мотивы и побуждения, свои склонности и страсти. Так вот — не глупо ли отодвигать это все в темноту души, скрывать от самого себя? Ведь рано или поздно оно прорвется и станет выливаться в поступки. Я думаю, что вряд ли случаен каждый поступок человека. И не лучше ли осветить как следует этот темный угол, чтобы увидеть все несовершенства своей души, научиться признавать ее заблуждения и вовремя исправлять свои ошибки? Это очень нелегко. Но стоит только начать, и в жизни одна за другой открываются для тебя ее истинные ценности. Те самые, за которые мы провозгласили тост тогда у меня во дворе. Ценности, которые не покупаются и не продаются. И ты, — улыбнулся он вдруг, — хоть бы уж порадовалась за сына. Ведь он размышляет именно о том, как лучше начать в себе эту нелегкую работу.

— Конечно, — хитро ухмыльнулся Ленька, — хоть бы порадовалась за меня.

— Я еще посмотрю, радоваться мне или плакать от этого вашего философского романтизма. Все! Хватит всякой философии! Давайте выпьем еще, а потом, Ленька, поставь нам какую-нибудь спокойную инструментальную музыку. Я хочу потанцевать с нашим Экспонатом в стиле “ретро”. Это ему наверняка подойдет, и теперь-то уж он от меня не отделается, как на фуршете.

— Музыка я поставлю, мама, — сказал Ленька. — Только Экспонатом давай-ка лучше мы будем звать тебя. По-моему, тебе это больше подходит.

— Никаких. Дело сделано, переделывать ни к чему. Тебе не нравится, а доктор доволен.

— Ну я не то чтобы слишком доволен... — сдерживая улыбку, пожал плечами Велешев.

— Та-ак... Отрабатываем задний ход?

— Ладно, пусть будет передний.

Выпить Валерия предложила за радость жизни, и поддержать такой тост без энтузиазма было попросту невозможно. Потом Леонид повозился у музыкального центра, и вскоре зазвучала красивая мелодия, творимая большим оркестром с волнующими глубокими оттенками.

— Это Поль Мориа и его оркестр, — сказал Велешев. — Удивительная музыка моей молодости.

— Вот видишь, как мы умеем угадывать твои запросы, — подмигнула ему Валерия.

А Леонид вдруг заявил:

— Дамы и господа, прошу прощения. Я должен откланяться — меня ждут неотложные дела.

Велешев смутился, думая, что Ленька решил уйти только ради того, чтобы оставить их одних, и хотел было остановить его, но тот не дал ему и рта раскрыть.

— Не беспокойтесь, Павел Андреевич. Это не вынужденный уход, а запланированный поход.

— Ты смотри там, — сказала сыну Валерия. — Чтобы все по-доброму.

— Не переживай, родительница. Как сказал поэт, за все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью.

Он ушел, и Валерия развела руками:

— Упорхнул к своей Викторочке. Помнишь, я тебе о ней рассказывала?

— Поздновато он что-то.

— Ну, они ночные бабочки. Или осядут у нее, или часов до трех будут торчать в какой-нибудь кафешке. А вы, доктор, не расслабляйтесь. Я жду приглашения на танец.

— Позвольте пригласить вас, Валерия Сергеевна.

— С удовольствием, Павел Андреевич.

Велешев водил Валерию в медленном танце, и ее полные, словно бы слегка вывернутые губы, пылающие вишневым огнем глаза были совсем рядом, упругое тело касалось его. Он чувствовал нечто вроде легкого головокружения, и ему было невыразимо хорошо. И ей тоже — он это ощущал. Валерия слегка коснулась губами его губ и прошептала:

— Доктор, в тебе есть что-то такое, что волнует, пронизывает до пят. Я много выпила, я устала, но все равно очень хочу тебя.

Он бережно и властно прижал всю ее к себе и, сливаясь воедино, они потеряли окружающий мир, словно выпали из него. И немало времени прошло, прежде чем опять начали осознавать окружающее.

Кровать у Валерии была такая широченная, что, вернувшись к действительности и обозрев площадь, на которой они лежали, Велешев не удержался от вопроса:

— Слушай, зачем тебе такая огромная кровать? Ощущение, будто лежишь в чистом поле. На ней же в футбол можно играть.

— Тебе что — разве плохо игралось? — зазвенела смехом Валерия. — Ты же знаешь, как я свободу люблю.

— Я это предполагал. Но теперь, кажется, имею об этом самое полное представление.

— Ладно, спи. Я уже проваливаюсь.

— Леня, наверно, скоро придет. Может, мне устроиться на диване в гостиной? А то ведь неудобно перед ним...

— Спи спокойно, Экспонатик ты мой, — от усталости едва шевеля ресницами, погладила она его по плечу. — Тут все взрослые.

И через несколько секунд уже спала, сладко посапывая.

А он, несмотря на усталость и немалое количество употребленного за вечер спиртного, никак не мог уснуть, и отчего-то ему становилось все больше не по себе. Видно, сказывалась непривычная обстановка, и, хотя Валерия, как всегда, разметавшись во сне, лежала рядом, он ощутил вдруг хорошо знакомый по прежним временам острый приступ одиночества. “Кто я тут, в каком качестве? — толкнулась в сердце жесткая мысль. — Глупо, наверно, предполагать, что она постоянно спала одна на этой своей широченной кровати”. И внезапное сознание того, что до него тут мог вот так же лежать кто-то другой, резко помрачило душу.

Валерия зашевелилась во сне, повернулась на бок и обняла его, вся прильнула к нему. И от ее тепла ему сразу же стало легче. “Какое тебе дело до того, что было у нее раньше? — едва ль не со злостью на самого себя поду-



мал Велешев. — Она же не лезет копаться в твоём прошлом, а вот — даже во сне тянется к тебе со своим теплом. Неужели этого мало, идиот?” И, осадив нежданную душевную муку таким образом, он через некоторое время все-таки сумел заснуть.

Ему всегда хватало пяти-шести часов хорошего крепкого сна, и тут он по привычке проснулся, наверное, слишком рано для того режима, который позволяла себе в выходные дни Валерия. Хотелось встать и, пока она спит, влезть как-нибудь потихоньку под горячий душ, обрести свой привычный настрой, а потом пройтись хоть полчаса по городу, посмотреть, как чувствует себя все вокруг. Но он, как всегда, боялся разбудить ее. Валерия спала, раз-румянившись, опять же с какими-то почти детскими признаками в облике, и ресницы слегка подрагивали — наверное, ей снилось что-нибудь хорошее. Велешев смотрел на нее с любовью и в то же время с жалостью. Да, именно жалость примешивалась — этакая тонко щемящая душу. А какова ее причина — в этом Велешев пока еще не мог отдать себе отчета.

Возможно, Валерия почувствовала во сне, что он смотрит на нее, а может, просто совпало так, но она вдруг вытянула руки над головой, потянулась вся со стоном и села в кровати, открыв глаза, часто заморгала. Потом удивленно уставилась на него:

— Ты почему не спишь? Который час?

— Да, наверное, где-то ближе к восьми.

— Ух, рано еще... — Валерия длительно и громко зевнула.

— Не боишься, — усмехнулся он, — что Леонид в своей комнате проснется от твоего рева?

— Леониду сейчас хоть лев зареви — он все равно не проснется.

— Давай встанем пораньше, до него. Хоть в порядок себя привести, а то, знаешь... мне перед ним все-таки неудобно.

— Ну конечно. Экспонат должен быть отреставрирован и начищен до блеска.

— Слушай, я тебе тоже какое-нибудь прозвище придумаю.

— Придумывай, не жалко. Знаю, что в силу своей старозаветной обходительности ничего обидного ты мне все равно не прилепишь.

— А вдруг найду что-нибудь гораздо точнее и правдивее, чем ты придумала мне? Некоторые ведь на правду склонны обижаться больше всего.

— Хм, на правду... Посмотрим, как ты относишься к правде. Многоуважаемый доктор, а Лия-то Бережная, то бишь Лидочка Возницына, судя по всему, нешуточно любит вас.

— Т-хх... — уставился он на нее. — С какой такой стати? Что за бред? Приснилось тебе, что ли?

— Да нет, не приснилось. Я видела, какими глазами она смотрела на тебя. И когда мы стояли втроем, и потом, когда ты остался у стола один, а Лидочка подошла к тебе. И как она тебя поцеловала — это я тоже видела.

— Конечно, похвально, что ты умеешь так хорошо видеть и вблизи, и издалека, — усмехнулся Велешев, — но на этом основании утверждать...

— Пашенька, я знаю, что утверждаю. И можешь не сомневаться — мы, женщины, лучше вашего лопухого брата умеем чувствовать, кто из нас и как смотрит на мужчин. Тут не только благодарность за продленную жизнь.

— Ну ты подумай, что говоришь. Она же в дочери мне годится.

— Сколько ей было лет, когда ты ее оперировал?

— Не помню точно. Лег, может, тринадцать-четырнадцать.

— Вот, вот. Именно в таком возрасте и влюбляются впервые без ума.

— Предположим, что так. Я сам безумно влюбился в таком возрасте. Но ведь это была моя одноклассница, а не женщина, которая годилась мне в матери.

— Э-э, по-разному случается. Лидочка, похоже, влюбилась в тебя, когда ты выхаживал ее после операции. Сотворила себе кумира, этаким мужской идеал, и до сих пор его никто не может перебить. Наверное, потому и замуж-то все никак не выйдет. Уж такие красавицы, да еще с толстыми сумми, за ней ухлестывали, а не тут-то было. Двое чуть полностью с ума не спятили. А доктора Велешева случайно увидела в зале — сразу же узнала через

столько-то лет и с этой минуты пела лишь для него одного. И, между прочим, пела прекрасно, как никогда. А потом цветы на отдельном столике...

— Ну вполне естественная же, хотя и не совсем обычная, благодарность бывшей пациентки. Вспомни, как ты растрогалась — дескать, звездный час хирурга.

— Это само собой, я уже сказала. Но стоило глянуть со стороны — и напросился еще один вывод.

— Вывод этот твой, по-моему, какой-то не совсем здоровый. Она молодая цветущая женщина, а я уже полвека небо копчу. Даже и думать-то о таком глупо.

— Это тебе так кажется. А молодые цветущие женщины предпочитают нынче мужчин именно твоего возраста.

— Интересно, с чего бы это?

— Наверно, потому, что с молодыми цветущими мужчинами им скучно и не столь надежно.

...Завтракали без Леонида — он все еще отсыпался. Потом Валерия, как у нее заведено было по субботам, решила заняться уборкой квартиры и прочими неотложными домашними делами. Велешев без особого энтузиазма предложил:

— Давай помогу. Скажи, где чего...

— Боюсь, ты мне будешь только мешать, потому что я люблю делать все сугубо по-своему. Если хочешь, сходи и прогуляйся пока по городу и заодно купишь хлеба — черного и белого. А потом можешь почитать или посмотреть фильм — у Ленки полно кассет со всякими новыми фильмами.

— Отлично. Тогда я сматываюсь.

— Сматывайся.

...Велешев бродил по городу, просветленному осенней желтизной деревьев, и удивлялся, как же сильно изменилось все вокруг с той поры, когда он тут жил и работал. В древней части города, на месте деревянных домов, от которых веяло купеческой стариной, стояли теперь вызывающе роскошные особняки, офисные здания различных конфигураций, холодно сверкающие стеклом. Но главное, что поражало — это обилие мусора на улицах, которые раньше всегда были чисто ухожены. Бросались в глаза разноцветные обертки от различных лакомств, окурки, смятые пачки от сигарет, полиэтиленовые бутылки у стен домов. Асфальт улиц — как проезжая часть, так и тротуары — зиял всюду трещинами и выбоинами. В некоторых местах виднелись, правда, свежие асфальтовые “заплаты” — латали там, где совсем уж невозможно стало проехать.

“Боже ты мой, — покачал головой Велешев, — какие богатые, претенциозные все эти новые магазины, офисы и особняки, и сколько грязи вокруг... Богатство среди грязи — разве это богатство? Да нет, это бедность, которая страшна еще и тем, что она мало кем осознается к настоящему”.

Он шагал и прикидывал, что надо бы выбрать время, забежать к Болотинным. Сергей Болотин по-прежнему работал главным врачом кардиологической клиники, и, наезжая изредка в город по делам, Велешев иной раз наведывался туда к нему. Сохранился в клинике и основной костяк врачей и медсестер, вместе с которыми трудился когда-то Велешев, поэтому встречали его там всегда с радостью, хотя и примечалось порой во взглядах нечто похожее на жалость или сочувствие. Бывал он у Сергея с Ниной и дома, иногда оставался у них ночевать. Интересно, как они отнесутся к перемене в его судьбе — постоянно ведь намекали, что одному жить негоже, особенно если везешь на себе такой воз, как сельская участковая больница. Живет он, правда, по-прежнему один, но если душевного одиночества больше нет — разве этого мало? Валерию Сергей с Ниной знают, наверно, неплохо — общались ведь с ней раньше, даже вроде бы дружили. Сергей-то, может, и не особо приглядывался — знакомых у них тьма-тьмушая, а Нина приглядеться к человеку умеет, от нее ничто не ускользнет. Да, интересно, как отнесется... Во всяком случае для них это будет большой неожиданностью...

До дома, в котором жила Валерия, от центра города было не больше двадцати минут ходьбы, и, возвращаясь, Велешев вспомнил с усмешкой,

с какой непоколебимой уверенностью она убеждала его в том, что Лидочка Возницына питает к нему чувства гораздо большие, чем просто к врачу, продлившему ей жизнь. Вот уж чепуха-то... Конечно, Лида была ошеломлена этой неожиданной встречей — через столько лет да еще при таких необычных обстоятельствах... И в самом деле, веляло от нее особым каким-то волнением. Но ведь это вполне понятно, да если еще учесть, насколько впечатлительной девочкой она была. Такой, судя по всему, и осталась. А предполагать то, что за два оглядка умудрилась предположить Валерия... Чепуха да и только. Уж не принимает ли Валерия Сергеевна в себе за пронизательность нечто сугубо собственническое? Если так, то упаси нас Боже...

Он зашел в магазин, купил хлеб, торт и бутылку хорошего вина. Цветочный магазин был неподалеку от дома Валерии. Велешев помнил его с давних пор и обрадовался тому, что цветы продают на прежнем месте. Он выбрал несколько крупных роз и, когда Валерия открыла дверь на его звонок, протянул ей букет:

— Дорогая Валерия Сергеевна, исправляю свою вчерашнюю оплошность.

Она восхищенно распахнула глаза, и щеки ее слегка порозовели от теплого чувства.

— Спасибо, доктор... Какие великолепные розы... Я очень рада такому исправлению.

И поцеловала его в щеку.

Леньки дома уже не было. Как объяснила Валерия, он, даже не позавтракав по-настоящему, умчался к своей Викторочке. У них с друзьями намечается какая-то крутая шашлычная вылазка на природу.

— По-моему, он начинает прикипать к девочке, — сказала Валерия, — слава Богу. Она мне очень нравится. А мы с тобой давай-ка завтра тоже куда-нибудь за город рванем. Надо подышать как следует. Да и прокатиться хочется с ветерком, а то я уже забыла, когда садилась за руль.

— Ничего не имею против. Только вот... коль уж я здесь, надо бы выкроить время, чтобы к Болотиным хоть ненадолго забежать. Давно не виделись. Сегодня Сергей скорее всего в клинике, а завтра они наверняка будут дома. Ты ведь вроде бы неплохо знакома с ними, так что можем нагряться вместе.

— Да я... знаешь ли... — несколько смутилась Валерия. — Мы с Ниной дружили, но... как-то так у нас замялось все... Наверно, я виновата. Когда она работала тут рядом, частенько забегала к ней в поликлинику и дома у них бывала не раз. А потом... городская больница далеко, не очень-то забежишь, и звонить друг другу стали все реже... Слушай, может, лучше пригласим их к себе? Ты позвонишь, назовешь адрес, а потом встретишь. Для них это будет сюрприз, и с Ниной у нас сразу все восстановится. Как думаешь, приедут они к нам?

— Хм... Протрубим экстренный сбор — куда они денутся? Но ты ведь намечаешь поездку за город.

— Это в первой половине дня.

— Тогда давай подхватим их на обратном пути. Позвоню из машины по мобильному, чтоб выходили из дома.

— Отлично. Представляю, какие у них будут лица, когда они увидят нас вместе.

— Ну, какие уж будут — такие и будут. Эх, ближе этих ребят у меня никого из прошлого времени, пожалуй, тут и не осталось...

— А я что-то даже робею — так давно с ними не виделась. Как они воспримут все это наше с тобой?..

— Не беспокойся, — едва заметно усмехнулся Велешев. — Как оно того заслуживает, так и воспримут.

Валерия посмотрела на него внимательным испытующим взглядом и хотела что-то сказать, но почему-то все-таки промолчала.

Потом она, по-прежнему не принимая его помощи, готовила обед, нарежая что-то, с поварской сноровкой постукивала по доске ножом. А Велешев нашел на книжной полке сборник рассказов Юрия Казакова, изданный дав-

но, еще в советское время, и, устроившись на диване в гостиной, с удовольствием перечитывал почти уже забытые рассказы, сквозящие тонкой печалью по быстротечному времени, проникнутые светлым ощущением тайного чуда природы и хрупкого мира человеческой души. Без конца раздавались телефонные звонки, и Валерия, отрываясь от своих дел, говорила с кем-то — иной раз доверительно и со смехом, а иногда по-деловому сухо. И Велешеву было хорошо — и от тех чувств, которые навевала удивительная живопись казаковской прозы, и оттого, что время от времени доносился к нему из кухни голос Валерии, ее заразительный смех.

А потом они обедали, подбадривая себя легким вином, которое купил Велешев. Обед, приготовленный Валерией, особенно борщ, оказался настолько вкусным, что, вдохновенно отдавая ему дань, Велешев не смог удержаться от чувств.

— Какое же это все-таки счастье, — сказал он, — когда женщина так великолепно сготовит обед и позовет тебя к столу...

— Ну вот, — несколько даже смутилась Валерия, — а говорил, что не горазд на комплименты.

— Это не комплимент, а просто... счастье.

Телефонный звонок настиг Валерию и за обедом. Минут пять она успокаивала кого-то насчет какого-то Фильштейна, объясняя, что Фильштейн человек обязательный, очень приятный в общении и платит всегда вовремя.

— У тебя что — всегда так? — усмехнулся Велешев. — Звонок за звонком, как в Смольном у большевиков.

— А как же иначе? Друзья, знакомые, кто-то звонит и по деловым вопросам. Конечно, это раздражает иногда, но никуда не денешься — связи с миром терять нельзя.

— Извини, но у меня такое впечатление, что ты не на связи с миром, а у него на привязи. Хотя в выходные-то взяла бы да и отключилась. Надо же когда-то давать душе свободу.

— Вот видишь, какие мы с тобой разные. А я без этой привязи не могу.

— Выходит, ты пойманная птица?

— Это почему же? — едва ль не с обидой вскинула на него глаза Валерия. — У меня широчайший круг общения и... я куда хочу, туда и полечу. А на пойманную птицу, по-моему, гораздо больше походишь ты. На ту, которая сама себя поймала за хвост и посадила в клетку.

— Крепко сказано... — рассмеялся Велешев. — Очень образно, однако все-таки не соответствует истине. У меня под ногами настоящая земля, а над головой настоящее небо, которое, по словам Анны Тимофеевны, видит все. Такое небо, с которым хочется советоваться. Какая же это клетка, если тебе не хотелось оттуда уезжать? А уж коли речь зашла о полетах... Где, как не там, сподобишься взлететь душой к небесам? И когда это удастся, то уже не чувствуешь тяжести земных оков. Ну а ты здесь — куда летаешь, чего ищешь?

— Как это чего? Ищу радости, счастья.

— А вот сейчас — разве нет у тебя ощущения счастья?

— Конечно, есть. Но ведь счастье бывает разное. Я тебе уже не единожды говорила, что каждый нормальный человек почитает за счастье еще и благополучие, успех.

— Успех... Я знаю, что такое успех. Главное, чтобы стремление к нему не переросло в слепую страсть. Тогда для души это уже мнимое удовлетворение. Этакая обманчивая пища, которая вызывает в ней лишь еще больший голод, усиливает жажду, а настоящего удовлетворения душе никогда не принесет. А что касается благополучия... Конечно, необеспеченным быть нелегко. Но все-таки... жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. Это не я сказал, а Христос.

— Ох, Велешев... — покачав головой, шумно вздохнула Валерия. — До чего же странный ты человек! Нормального, даже счастливого житейского настроения тебе всегда мало. Обязательно надо и самому влезть, и других втащить в какие-нибудь непролазные дебри. Насчет клетки я, пожалуй, и в самом деле не права, но все-таки у тебя какой-то сутубо свой, особенный мир.

И душевный мир, и всякий другой. Рядом с тобой хорошо — легко и просто, но иногда ты вдруг становишься таким отдаленным... как Робинзон на своем острове.

## Глава двадцать шестая

Утро выдалось тихое, солнечное. По-настоящему ласковое утро “бабьего лета”, словно теплое откровение осени, которое вызывало в душе приливы какого-то трепетного, с примесью светлой печали, счастья.

Можно было бы спокойно ехать, отдаваясь этому драгоценному чувству, поглядывая по сторонам и предвкушая, как расступятся громады города и откроется впереди вольная природа, радостно цветущая в своем увядании. Но Валерия гнала машину так, словно куда-то сильно опаздывала.

Едва только она воцарилась за рулем и выехала со двора на улицу, Велешев сразу же ощутил, что спокойная езда, умеренная скорость отнюдь не в ее духе. Приверженцев такой езды Валерия уверенно обгоняла, лихо устремляясь в промежутки, и мужчины посматривали на нее сквозь стекла своих автомобилей с таким сарказмом, что Велешеву было не по себе. Он вспомнил, как Ленька при первой встрече с ним досадовал по поводу этого ее лихачества, а теперь уж вот и сам убеждался, что ездить по-иному она просто не умеет.

Промчавшись по мосту путепровода, Валерия всадила машину во впадину, которую при меньшей скорости можно было бы легко объехать. Подбросило так сильно, что и Велешев, и сама водительница едва не треснулись головами о потолок. И при этом она зыркнула на Велешеву искоса с каким-то даже вызовом — ты, дескать, чем-нибудь недоволен? Ему стало смешно, и он хотел было спросить, куда же это она так спешит, но потом подумал: какой смысл говорить одержимому о его одержимости, да еще в такой момент, когда тот особенно одержим? И, уповав на милость судьбы, благоразумно молчал.

А потом случилась еще одна неожиданность — на сей раз куда более приятная. Когда проезжали через площадь, Велешев увидел вдруг Болотиных. Нина держала мужа под руку, и шли они явно не спеша, спокойно о чем-то разговаривали, направляясь в сторону сквера.

— Вот это номер, — сказал Велешев. — Остановивай, Валера. Прижмись куда-нибудь.

— Что такое? В чем дело?

— Останови. Я увидел кое-кого.

Она свернула в сторону, и, выбравшись из машины, Велешев стремительно зашагал через площадь к Болотиным. Подходил он к ним сбоку, и они не замечали его.

— Гуляем, господа? — приблизившись почти вплотную, негромко спросил Велешев.

Они обернулись разом и остолбенели.

— Боже мой... — прижала руки к груди Нина. — Я сейчас упаду. Паша... Ты... Откуда ты тут возник?

И ринулась к нему, обняла и расцеловала, быстрым движением стерла с его щеки помаду. А Болотин смотрел, часто моргая, все еще не веря своим глазам.

— Уф-ф... — наконец обрел он дар речи и, шагнув к Велешеву, крепко облапал его, пошлепал по спине. — Так ведь и до инфаркта недалеко, изверг. Мы же только что говорили о тебе.

— И мы недавно о вас говорили.

— Вот те на! И с кем же это ты удосужился о нас вспомнить?

— Я-то? Да со своим водителем. Вон он стоит, — указал Велешев.

Валерия стояла возле машины на противоположной стороне площади и смотрела на них в явной растерянности — не зная, то ли идти к ним, то ли дожидаться, когда они подойдут сами.

— Интересно... — взглядываясь в нее, сказала Нина. — Может, я и ошибаюсь, но... в облике этого водителя мне чудится что-то весьма знакомое.

Сергей особенно не вглядывался, лишь стрельнул взглядом в сторону Валерии и сокрушенно вздохнул:

— Так-то вот, Ниноля... Мы с тобой печемся о том, как ему во глубине густых лесов тяжело да мучорно без женской ласки, а его в это самое время импозантные дамы по городу на машинах катают.

— Братцы, — сказал Велешев, — я сегодня собирался к вам, а вы вот они. Не иначе, как воля Божья. Насколько я понимаю, вышли прогуляться, так?

— Да разве сегодня можно по-другому? — развел руками Болотин. — Ты только глянь, какой день. Попробуй-ка удержи женщину дома в разгар “бабьего лета”. Да и нам не грех приобщиться — ведь своего запасного лета у нас, у мужиков, нет. Решили промяться, продышаться как следует, а потом посидеть в каком-нибудь уютном заведении.

— Отлично. Тогда нечего тут стоять, пошли в машину. Дышать да промяться лучше на вольной природе, под свободным небом.

— Ты как-то так сразу... — несколько опешил Сергей.

— Как будто ты не знаешь Велешева, — сказала Нина. — У него всегда все неожиданно и сразу. И ведь сам же ныл с раннего утра, что наша машина в ремонте. Поехали, а то я уже сгораю от нетерпения... — покосилась она в сторону Валерии, — так хочется поскорее оказаться среди вольной природы.

— А водитель твой прилично хоть водит-то? — с усмешкой глянул на Велешева Болотин. — Часом, не кувыркнет нас в какую-нибудь канаву?

— Ты, Сережа, все такой же осторожный, — похлопал его по плечу Велешев. — Склонность к лихачеству у моего водителя, конечно, есть... Но он уважает вас обоих и уж тут-то, думаю, сразу же образумится.

— Ну, брат, заинтриговал...

Когда они были уже в нескольких шагах от Валерии, она, от смущения розовея щеками, не выдержала, подалась навстречу:

— Нина, Сергей Акимович, я очень рада вас видеть.

— Батюшки... — распахнула Нина руки. — Лерочка... Сколько лет, сколько зим! Вот уж неожиданность-то...

Они обнялись, расцеловались, потом Нина, несколько отодвинув Валерию от себя и держа за плечи, внимательно рассмотрела ее всю и покачала головой:

— Надо же... Ничуть не изменилась.

— Ты тоже.

— Да ладно уж, не ври.

А Болотин некоторое время ошарашенно взирал то на Валерию, то на Велешева, но наконец вроде бы что-то понял.

— Ольховцева, — прогудел он, — проказница, это ты, что ли?

— Конечно, я, Сергей Акимович. Неужели не узнали?

— Да как тебя не узнать... Только... вот этот господин, — кивнул он на Велешева, — за город нас пригласил, а машину, значит, поведешь ты?

— Разумеется. А что вас смущает?

— Смущает? Да это слишком мягко сказано. Я тебя боюсь — ты же нас кувыркнешь где-нибудь.

— С какой стати? — рассмеялась Валерия. — Как такое можно утверждать, если вы никогда со мной не ездили?

— И Боже упаси. Я знаю, сколько лошадиных сил в твоей машине и какой бес сидит в тебе.

— Дорогой Сергей Акимович, я уже шесть лет за рулем и пока никого не кувыркнула.

— Угу, пока.

— А вас я повезу как по маслу — постараюсь, чтоб даже не качнуло.

— Ладно, поглядим. Но если начнет качать, то я сяду за руль, а ты окажешься на заднем сиденье.

— Хорошо, я согласна.

— Ну тогда поехали.

Нина уселась рядом с Валерией, Болотин с Велешевым расположились на заднем сиденье, и, благословясь, тронулись.

На сей раз Валерия вела машину с умеренной скоростью, действительно как по маслу. “Надо же, — мысленно удивился Велешев, — оказывается, она и так ездить умеет”. Через некоторое время окончательно успокоился и Болотин — лишь озадаченно хмыкнул. Все молчали, полосу молчания надо было как-то преодолеть, и за это решительно взялся Сергей.

— Та-ак, голуби мои... — громко и нараспев произнес он. — И сколько же еще вы будете в молчанку играть? Уж коль мы едем на природу вместе, то, может, вы все-таки сообразовите просветить нас с Ниной по поводу того, какими же это ветрами вас прилепило друг к другу?

— Я думаю, — подала голос Валерия, — Павел Андреевич лучше меня об этом расскажет.

— Да что тут рассказывать? — глядя в боковое окно, пожал плечами Велешев. — Она с дерева упала в нашем районе.

— С дерева? — уставился на него Болотин. — В вашем районе? В том районе, где твое Поречье?

— В том самом.

— Стоп. Я чего-то никак... Ты что, Лера, отправилась туда, в его район, созреть на дереве в качестве плода?

— Да нет, Сергей Акимович, — рассмеялась она. — Обычная деловая поездка. Контракт на рекламу заключала с одним местным предприятием.

— Та-ак, это понятно. А на дереве как же оказалась?

— Да влезла на него, вот и все.

— Зачем?

— Ну... полезла... Так, чепуха...

— Ага. Вот этой самой чепухи-то я как раз и боялся, когда мы грузились в твоей лимузин.

— Сережа, сколько можно? — обернувшись, глянула на мужа Нина. — Лера прекрасно ведет машину. Как врач, ты прежде всего посочувствовал бы, поинтересовался последствиями ее падения. Сильно ударилась, Лерочка?

— Да вообще-то прилично травмировалась. Вывих в запястье, на бедре рваная рана...

— Ясно, — сказал Болотин. — А вывих вправлял Велешев.

— Угадали, Сергей Акимович.

— Ну и как вправил?

— Отлично. Я почти не почувствовала.

— Хм, и тут, значит, не промах... А уж бедро-то, наверно, и вовсе заштопал мастерски?

— Конечно. Да вы лучше у него спросите. И про бедро, и про все остальное. Павел Андреевич как специалист может объяснить вам более обстоятельно.

— Так что же ты молчишь-то? — ткнул Болотин своего однокашника локтем в бок.

— А что тебе еще сказать? — пожал плечами Велешев. — Бедро как бедро — несмотря на рану, заметно было, что оно приятной конфигурации...

— Бедро — это понятно... — не унимался Сергей. — Ну а дальше что же?

Нина повернулась к нему и покачала головой:

— Болотин ты Болотин... Ну неужели трудно понять, что дальше? Дальше то, что сейчас мы все вместе едем в одной машине.

— Ты, Болотина, — выставил он у нее перед носом указательный палец, — за идиота меня принимать не спеши. Мне не меньше твоего известно, что мы сейчас все вместе едем в одной машине. Но мне неизвестно другое. Друг наш Паша Велешев — что он делает в покинутом им городе? Может, он решил осчастливить этот город своим постоянным присутствием?

— Да нет, брат, — ответил Велешев, — приехал я всего на три дня и причем с тем, чтобы этот город осчастливил меня. С благоволения губернатора нашей Пореченской больнице выделяют новую спецмашину и стоматологическое оборудование, и все это мне надо будет завтра получить. Ну, а между делом я обретаю тут и чисто душевное счастье — общаюсь с Ва-

лерией Сергеевной, с которой после известных вам событий мы стали большими друзьями, общаюсь с вами, дорогие мои однокашнички.

— Ну вот, Нина, — сказал Болотин, — теперь абсолютно ясно, что ничего не ясно.

— Какой же вам ясности-то надо, Сергей Акимович? — усмехнулась Валерия. — Может, еще скажете, что и день сегодня пасмурный?

— Нет, проказница, этого не скажу. День сегодня такой, что остается только радоваться.

— Вот и радуйся, — похлопал его по плечу Велешев.

Когда шоссе пошло через леса, и замелькали по сторонам среди хвойной зелени яркие, словно бы ликующие под солнцем, краски осени, Валерия вскоре свернула влево на какую-то неширокую асфальтированную дорогу и теперь совсем нешибко повела машину по ней.

— Местечко тут одно есть, — сказала она. — По-моему, очень уютное.

Место и впрямь оказалось уютным — небольшая поляна при дороге, а в центре ее на огромном пне был устроен стол из толстых досок, вокруг которого стояли мощные сосновые чурбаки со спинками. “Как просто, — подумал Велешев. — Запилить метровое бревно посередке на две трети толщины, потом сколоть топором, обработать — и вот тебе сиденье со спинкой. Во дворе у себя можно таких наделать...” Эти “медвежьи” стол и стулья были покрашены в красный цвет — местные лесники старались, видно, сколь порадовать людей, столь же и оберечь свое произведение от разрушения сыростью.

А метрах в двух от стола стояла осина — молодая, с гладким стволом, который можно было обхватить ладонями, и красивой, правильной кроной. Листву ее осень окрасила в апельсиновый цвет, и временами листочки на длинных черенках трепетали от едва заметного дуновения ветерка. А некоторые из них срывались с ветвей и с пропеллерным вращением медленно опускались на землю.

Осина приковала к себе внимание всех четверых, и несколько мгновений смотрели на нее молча. Потом Болотин подошел к ней, погладил изжелта-зеленый ствол и, подняв голову, всматриваясь в крону, пробормотал:

— Надо же... Вроде бы улыбается и в то же время будто бы плачет...

К этому никто не добавил ни слова, а у Велешева что-то дрогнуло в душе от теплого чувства к Сергею: раньше у Болотина склонности к такой тонкой лирике, кажется, не было.

От поляны в глубину леса вела другая дорога — грунтовая, в одну колею и совсем почти не наезженная, заросшая все еще хранящей в себе зелень травой и уже изрядно усыпанная опавшей листвою.

Машину оставили на поляне и пошли прогуляться по этой дороге, напомилавшей своей прямой аллею парка. Перепархивая с места на место, поцвинкивали в вершинах старых деревьев синицы, шуршала под ногами палая листва. Женщины шли впереди, с приглушенной увлеченностью выкладывали друг дружке каждая свое. А Велешев с Болотиным шагали некоторое время молча, наслаждаясь той прелестью запахов и потаенных звуков, какие бывают только в осеннем лесу. Потом, когда женщины, увлеченные разговором, отделились настолько, что их не стало слышно, Сергей осторожно спросил:

— Паша, у тебя с ней всерьез?

— Думаю, что да.

— Но тебе же хозяйка нужна, берегиня. Мы с Ниной сегодня говорили как раз об этом. А Лера... Лера, конечно, штучный экземпляр... Она эффектная, интересная женщина. Но... ведь она хозяйка только сама себе, да и то не всегда...

Велешев не отвечал, слышалось только шуршание листвы под ногами. Молчание затягивалось, и Болотин вдруг остановился, положил ему руку на плечо.

— Прости меня, Паша. Я, наверное, зря...

В глазах у него стояли слезы, и этого за Болотиным раньше тоже никогда не замечалось.



— Да брось ты, Серега, — тепло сжал его руку Велешев. — Я молчу потому, что ты скорее всего прав. Но только... видишь ли...

— Я понимаю — это не выбирают. Это как выстрел, которого не ждешь. Просто я... Возраст ведь уже, и хочется, чтобы у тебя как-нибудь понадежней... А с другой стороны — столько лет мыкаться в своей глуши одному... И вдруг падает с дерева не кто-нибудь, а Валерка, из которой жизнь бьет даже не ключом, а фонтанищем. Как тут не понять? Она же мертвого из могилы поднимет и заставит плясать.

— А вот это, пожалуй, точно, — рассмеялся Велешев. — Я, конечно, не умею плясать, особенно под чью-то дудку, но...

— Да понятно, брат, все понятно. Еще раз прости уж меня, дурака.

— Ты о своих-то делах расскажи. Как там, в клинике?

— Что тут рассказывать — по себе, небось, знаешь. Те времена, когда мы вместе работали, — это были золотые времена. Тогда мы, конечно, тоже во многом нуждались, но теперь... Дадут чего-нибудь тысяч на пятьдесят, а на триста тысяч что-либо разваливается. Каким-то чудом сводим концы с концами. И с людьми творится Бог знает что.

— Что же такое?

— Помнишь, как раньше? Бывало, ты, или я, или кто-то другой проведем с успехом сложную операцию, и обступят все, обнимают, поздравляют от души. Теперь, брат, не то. Теперь в лучшем случае холодное молчание. И откуда только взялась эта зараза? Мы же не поэты, не художники, а четкие хирурги — работаем над человеческим сердцем, и какое тут может быть тщеславие, какая зависть? Так нет же — пропитались этим почти все. И больных стали выхаживать кое-как. Обходы-мимоходы — хоть с пистолетом за каждым ходи. Один молодой, только пришел к нам и всего-то провел три несложных операции, а уж заявляет мне: я, дескать, хирург, а не нянька. Схватил я его за лацканы, чуть об стену не шваркнул. Неужели, говорю, сукин сын, не понимаешь, что сердце больного должно быть в твоих руках до той поры, пока больной не вышел из больницы и не зажил полноценной жизнью? И знаешь, Паша... Когда ты ушел из клиники, я тебя не понял, даже обиделся, а теперь... Теперь я тебя, кажется, понимаю, и порой... завидую тебе белой завистью.

— Не волнуйся ты так, Сережа.

— Кроме тебя и поделиться-то стало не с кем. А берут все — разве это не зараза?

— Что берут?

— Деньги с больных, что же еще. Зарплата, конечно... сам понимаешь... Но нельзя же так — со всех подряд. Даже Теплов стал брать, а помнишь, какие у него были принципы, какой был бессребреник?

— А ты берешь?

Болотин остановился и вздохнул, потушившись. Потом посмотрел Велешеву в глаза, опять вздохнул и ответил:

— И я беру. Только не у больных.

— А у кого же?

— Что ж, могу обрисовать. Вваливается вдруг ко мне в кабинет этакая сытая, обширная морда, исполненная какого-то неведомого, но очень большого достоинства или, лучше сказать, уверенного спокойного хамства. Глаза холодные, смотрят, как стволы из амбразур. Сразу чувствую всей шкурой: натуральный бандит, который успел хорошо отмыться, а может, еще и не отмылся до конца. Небрежно кладет он передо мной конверт и говорит, что необходимо срочно, без всякой очереди и с большим успехом прооперировать его папу. Я ему вежливо объясняю: у нас на очереди много уже обследованных больных, а вашего папу надо еще хорошенько обследовать, так что срочность тут абсолютно исключается. И разве можно, говорю, так вот, заранее, гарантировать успех? Заберите, пожалуйста, свой конверт и привозите папу. Мы сделаем все, что можем, но только в том порядке, который у нас установлен. Он спокойно забирает свой конверт и, обдав меня стальным холодом из своих амбразур, уходит. А через час раздается звонок из высоких строгих инстанций, и начинают меня поливать: ты, дескать, что там — за-

жрался совсем? Ты хоть знаешь, кому отказал? Я пытаюсь объяснить, что никому я не отказывал, а меня прерывают и приказывают: а ну-ка давай удовлетворяй просьбу этого человека немедленно, иначе копнем там у тебя, и загремишь вверх тормашками, а то и под суд пойдешь как миленький. И ведь отдадут под суд, и посадят, если захотят. Мы с замом по хозяйности иной раз на такие ухищрения идем, стараясь свести концы с концами, что упаси, Господи... Бывает, что с теми же самыми притязаниями приходят и отнюдь не рожки, а лица — интеллигентные, очень даже приятные. И точно так же кладут конверт. Уж этим-то, думаю, можно объяснить, что к чему. Не тут-то было. Результат один и тот же. Ну и... стал брат. Большую часть расходую на нужды клиники, а часть... у нас же с Ниной теперь не только дети, но и внуки... Вот так-то, брат. Тебе-то вон губернатор, оказывается, благоволит...

— Да это случайность. Заехал перед выборами. А ты чего так нахохлился? — Велешеву хотелось хоть как-то успокоить друга. — Тебе сами дают, а мне на мою больницу выключивать приходилось не раз — и у интеллигентных лиц, и у чугунных морд с сомнительным прошлым. Таких-то вот наук мы с тобой нынче доктора.

— Угу, таких-то вот наук... — уныло кивнул Болотин. — И все время не по себе. Постоянно какое-то ощущение греха.

— Это не так уж и плохо.

— Что ж тут хорошего?

— А то, что душа-то, значит, жива.

— Хм... — с растерянной улыбкой глянул Сергей на Велешева. — Ты чего-то стал совсем уж какой-то мудрый.

— Ага. Велика мудрость — в таком возрасте влюбиться в женщину, с которой ты в машине ехать боишься.

И они вдруг облегченно рассмеялись, да так громко, что дамы обернулись и удивленно воззрились на них.

На обратном пути как-то так получилось, что впереди, оживленно о чем-то беседуя, шли Болотин с Валерией, а Нина с Велешевым двигались следом на значительном удалении от них. Нина неторопливо расспрашивала его о том, как живет он в своем Поречье, как управляется с больничными делами. О Валерии она пока не произнесла ни слова, но чувствовалось, что вот-вот перейдет к этому.

— Ну что, Паша, — решила наконец Нина, — тебя, кажется, можно поздравить?

— С чем же это?

— Сам знаешь, с чем. Я так понимаю, что ты теперь не один.

— Сейчас не один. А завтра опять буду один.

— А потом опять будешь не один.

— Скорее всего, так.

— И тебя устраивает это “туды-сюды”?

— Я как-то не думал об устройстве. Что есть — то и есть.

— Ты извини, Паша — может, я слишком уж вторгаюсь... Но знаешь ведь, как я... как мы с Сергеем переживаем за тебя. От всей души хочется, чтобы ты обрел нормальный быт, который обеспечивала бы такая же заботливая женщина, какой была твоя Людмила. Валерию я знаю хорошо — она, конечно, очень привлекательная, энергичная, с ней интересно...

— Я был у нее дома. Что касается быта, по-моему, там все на высшем уровне.

— Конечно, это Лера умеет. Но ведь она невероятно своевольная. Вы, кстати, оба своевольные.

— Хм... — усмехнулся Велешев. — У меня там, в районе, друг есть — невропатолог. Так вот... удивительно. Он однажды сказал о нас с Валерой примерно то же самое.

— Ну вот, видишь. Значит, не я одна замечаю. Да, вы оба своевольные. Но ты-то у нас способен делать крутые повороты отнюдь не для своей пользы, а скорее наоборот. А Лера своевольна только для себя. Ей главное — собственные желания, удовольствия и прихоти. Парит “на воздухах”, упива-

ясь своей личной свободой и независимостью, высматривает, где и что ей больше подходит, а потом очертя голову бросается на выбранную цель. Этакий радостный вдохновенный ястреб. Ради Бога, не считай, что наговариваю на нее. Несмотря на то, что знаю за ней все это, я к ней очень хорошо отношусь, потому что в Лере много притягательного. Не обижайся, ладно?

— Я не обижаюсь. Возможно, ты близка к истине, но...

— Хочешь сказать, что все равно любишь ее?

— Хочу сказать, что никакой другой женщины мне не надо.

— Ну это оно самое и есть. Значит, опять решил как следует помучиться. Самомучитель ты наш.

— А что ж, — сосредоточенно глядя перед собой, усмехнулся Велешев, — как следует помучиться — это не помешает. Это иногда приносит большую пользу. А пожалуй, что и всегда.

— Ну-ну, давай мучайся для пользы. Только уж нас-то не забывай. Когда намучаешься вдоволь, приходи поплакаться в жилетку. Хотя знаю, что лучше какой-нибудь сучок зажмешь в зубах, а плакаться не будешь никому.

— С чего это я могу вас забыть? Ближе вас с Сергеем у меня тут никого нет.

— Как же — теперь есть.

— Да брось ты, Нинуха, — легонько сжал ей плечо Велешев. — Отлично же знаешь, о какой близости я говорю.

Когда вернулись к машине, Болотин уселся за стол, сработанный для отдыха путников лесниками, и все последовали его примеру. Некоторое время сидели молча, потом Сергей оглядел поляну, на которой виднелись следы костров, и, постучав костяшками пальцев по столу, вздохнул:

— Эх, поспешили мы. Надо было бы захватить сюда с собой кое-что, шашлычок соорудили бы...

— Эту проблему можно и по-другому решить, — сказала Валерия. — Я знаю местечко, где сейчас наверняка жарят шашлыки. Что-то вроде кафешки в лесочке у дороги, и столики там на открытом воздухе.

— Вот за что я тебя больше всего люблю, Валерка, — сказал Болотин. — Именно за мгновенные решения подобных проблем. Стоп. Дай я тебя за это поцелую.

Сергей встал, обошел стол и, взяв Валерию за плечи, чмокнул прямо в губы так звучно, что от растерянности она несколько мгновений не могла прийти в себя.

— Ну, Сергей Акимович... Вот уж не думала, что в некоторые моменты и вам бывает присуща немалая лихость...

— Это у него от переизбытка свежего воздуха, — сказала Нина.

— Хватит рассуждать! — хлопнул по столу ладонью Болотин. — Быстро все в машину — и к желанным шашлыкам.

Неподалеку от дачного поселка, в лесу близ дороги, действительно жарили шашлыки, и народу за столиками было совсем немного. Выбравшись из машины, путешественники обосновались за крайним столиком, поближе к деревьям, заказали шашлыки и все подходящее к ним. Ребята кавказского вида орудовали над своими мангалами так ловко, что смотреть на них было любо-дорого. Шашлычный дух, смешанный с запахом хвои и палой листвы, витал в воздухе, и этот праздничный аромат вызывал нечто вроде счастливо-го головокружения.

Вскоре появились на столе напитки — бутылка настойки “Немиров”, сок и минеральная вода, а следом пожаловало и главное блюдо — прямо на шампурах. К нему принесли зелень и овощи. Сначала выпили за встречу и за то, чтобы встречаться почаще, потом Болотин провозгласил тост за то, что “нас теперь четверо”. Валерии как водителю приходилось довольствоваться соком, однако она не унывала — решительно уничтожая шашлык, заявила, что наворачтает свое дома. Шашлык оказался неплохим, но Велешев отметил про себя, что до того качества, какого добивались они с Фадеичем, этому производству все-таки далекоовато.

После третьей рюмки Болотин как-то сразу погрузнел весь, осунулся лицом, и в голосе его зазвучали уже отнюдь не бодрые нотки.

— Пашка, — сказал он, — куда валится мир, куда мы все катимся? Так порой тошно, что сил никаких нет. И поделиться-то стало не с кем — хорошо хоть ты приехал.

— Ну вот, — пробормотала Нина, — опять запел свою панихиду.

— Да, конечно, — глянув на нее, развел руками Сергей, — кругом сплошные соловьиные трели, один я пою панихиду. Ну что тут поделаешь, если до сих пор не выходит у меня из головы эта проклятая льдина?

— Опять он про свою льдину...

— Что за льдина-то? — спросил Велешев.

— Да понимаешь ли... — повернулся к нему Болотин. — С прошлой весны не выходит из головы. Сообщили тогда по телевидению, что где-то там, на Дальнем Востоке, оторвало льдину с рыбаками и понесло в открытое море. И знал бы ты, как их спасали.

— Ну и как же их спасали?

— А вот так. Вертолеты на эту льдину летали, чтобы выручить людей, и вертолетчики умаялись в пух и прах, прокляли все. Дословно даже помню: “Спасение затрудняли сами рыбаки. Многие из них были пьяны и не хотели покидать льдину”. Ты понимаешь, что это значит? Нас несет черт знает куда, а мы не хотим покидать льдину. Мы спастись не хотим — понимаешь?

— Но ведь, наверно, все-таки спасли же их, Сергей Акимович? — спросила Валерия.

— Кого?

— Ну рыбаков-то этих.

— Да этих-то спасли.

— А что ж вы тогда так беспокоитесь?

— Ну речь-то ведь...

— Да успокойся ты, в самом деле, — сказал Велешев. — Далась тебе эта льдина. Мы в России живем, а в ней всегда так было — кто-то в огонь лезет неизвестно зачем, кто-то не хочет покидать льдину...

— Нет, не всегда так было! — хлопнул по столу ладонью Болотин. — Такой глупости и такого тщеславия не было никогда. Тщеславен в общем-то каждый. В любой человеческой душе нет-нет да и шевельнется огонек тщеславия. Но главное, чтобы он не перерос в пламя, в неудержимую жажду. Человек, в котором разгорелась жажда тщеславия, — это же ведь жуть. Он уже не дает спокойно жить ни себе, ни другим. Такому всегда хочется больше, чем имеет, он всегда лезет выше прочих и всегда на всех в обиде...

— Это понятно, — сказал Велешев. — Такой человек просто-напросто болен. Бывают болезни тела, а это тяжкая душевная болезнь. Скорее, даже открытая душевная рана. И относиться к таким людям надо как к больным.

— Может, еще скажешь — лечить их надо?

— Насчет “лечить” не знаю... Но обращаться с ними необходимо бережней — именно как с больными.

— Да ты знаешь, сколько их нынче, этих больных? К примеру, прыгает по сцене, вопит дурным голосом этакая полуголая фитюлька, потом берет у нее интервью какой-нибудь многозначительный, напыщенный телевизионщик, с полнейшей важностью спрашивает, где это она научилась так здорово прыгать и вопить, а фитюлька вся раздувается от тщеславия — такая в ней проглядывает самооценочность, как будто без нее на белом свете уже и жить никому невозможно. Неужели не видишь, сколько сейчас везде и всюду этих тщеславных фитюлек и фитюков — и на сценах, и на экранах, и в политике, и в бизнесе, и в больницах наших, и в школах, и в любых маломальски значимых кабинетиках? Их же полки, дивизии, их целые армии. Как сказал один герой Лескова, тут прежде всего надо хорошего писателя, чтобы он все это описал, а потом хорошего боевого генерала, чтоб он всех отсюда выгнал к чертовой матери. И скажи: как я могу, следуя твоему совету, относиться ко всем этим полчищам бережней?

— Конечно, всем этим полчищам нам с тобой не помочь... — Велешев немного помедлил. — Но ведь кому-то помочь можно. По-моему, не стоит от этого отказываться. А кому не можешь — на таких, думаю, надо смотреть с простой человеческой жалостью. Ведь тот, кто сам себя ставит высо-

ко, сам себе готовит падение. Есть и другая подобная же истина: “Всяк возносящийся смирится”.

— Слушай... — Болотин как-то сразу утратил весь свой пыл и смотрел на Велешева растерянно, даже вроде бы каким-то жалким сделался. — Ты с такой стороны к этому подошел, что я... что мне... Да, брат, пожалуй, тут есть над чем подумать...

— Вот и подумай.

Женщины слушали этот их разговор молча и напряженно.

Потом, когда, закончив пиршество, шли к машине, Нина несколько задержала Велешева и тихо сказала:

— Паша, ты, наверно, заметил — с ним ведь неладное творится... — глаза ее наполнились слезами. — У меня душа за него болит.

— Да, похоже, что Серегу здорово приехало, и ему очень нелегко. Но ты не бойся. Он сильный — обязательно с этим справится.

— Ты сейчас ему очень хорошо сказал — спасибо тебе. И на прощанье тоже подбодри как-нибудь, ладно? И приезжай почаще. Нам-то к тебе обратиться трудно — у него один выходной, и то не всегда.

— Теперь, конечно, буду приезжать чаще.

— Господи, и у тебя-то хоть сложилось бы как-нибудь понадежней...

В городе, когда подвезли Болотиных к их дому, вышли все из машины и стали прощаться. Велешев отвел Сергея от женщин в сторону.

— Ну что, Серега, давай-ка обнимемся.

— Давай, брат.

Они крепко обнялись, и Велешев произнес негромко едва ль не в самое ухо ему:

— Ты знаешь... Бывает, что сильное дерево надломит ветром, а оно стоит и каким-то образом само заживляет эту свою трещину. Через некоторое время смотришь — все уже нормально, все срослось.

— Хочешь сказать, что у меня надлом?

— Похоже на то, Сережа. Тебе надо заживить его.

— Да ведь я же не дерево. С душой-то, наверно, посложнее. Иной раз и не придумаешь, что с ней делать и как быть.

— Попробуй почаще смотреть на небо и помни, что оно видит все.

Несколько мгновений они оба молчали, потом Болотин произнес со вздохом:

— Пашка, дружище, как хорошо, что ты приехал.

## Глава двадцать седьмая

В Поречье Велешев с Володей возвращались в приподнятом настроении. Во-первых, ехали они на новом сияющем автомобиле, обладающем хорошей проходимостью и оборудованном под медицинские нужды с гораздо большей предусмотрительностью, чем это делалось раньше, а во-вторых, в машину было загружено все необходимое для зубоучебного кабинета, причем самое современное, американского производства. Такая удача и во сне-то вряд ли могла присниться, и поэтому Велешев время от времени с благодарностью устремлял взгляд в притуманенную синеву неба.

Когда отъехали от города километров пятнадцать, в кармане у Велешева заверещал вдруг мобильный телефон. Звонила детский врач Вера Гавриловна. Уезжая куда-либо на более-менее длительный срок, он всегда возлагал на нее все больничные дела. Сейчас чувствовалось, что она сильно взволнованна.

— Павел Андреевич, тут... Анна Тимофеевна... привезли ее в больницу сегодня утром... — говорила Вера Гавриловна прерывистым голосом, словно только что откуда-то прибежала, запыхавшись. — Совсем плохо...

— Что такое? В чем дело? Ты возьми себя в руки и говори внятно.

— Мы сделали одну электрокардиограмму, потом вторую, и я даже без расшифровки поняла, что хуже некуда...

— Так чего же ты ждешь? Немедленно вызывай из района “Скорую”.

— Уже вызывали. Они помогли, чем могли, и уехали.

— Как это уехали? Если настолько плохо, то Анну Тимофеевну надо срочно в реанимацию.

— Павел Андреевич, она не хочет. Молит Христом-Богом: не трогайте меня, никуда не поеду. Она вас ждет. Я, говорит, знаю, что скоро умру, и не тревожьте без толку. Мне, говорит, главное — дожидаться Павла Андреевича. А Луценко из “Скорой” отозвал меня в сторону и шепнул: дескать, пожалуйста, и в самом деле лучше не трогать — мы ее и двух километров не провезем.

— Какой он поставил диагноз?

— Считает, что острый инфаркт. Острейший.

— Она в сознании?

— В полном сознании. Лежит спокойно, с открытыми глазами. Капаем, вводим ей все, что рекомендовал Луценко. Сейчас, кажется, немного лучше.

— Скажи ей, что я уже в дороге и скоро приеду. Держите наготове кислород.

— Держим, Павел Андреевич.

— Не отходи от нее. А я тут по пути постараюсь еще что-нибудь придумать.

И Велешев сразу же набрал номер Васильева — заведующего кардиологическим отделением районной больницы.

— Игорь Евгеньевич? Здравствуй, это Велешев. Я тебе с дороги звоню — возвращаюсь в Поречье из нашей областной столицы. Только вот отъехали, и мне сообщили из моей больницы: там плохо с сердцем у одной женщины. Вызывали “Скорую” — Луценко определил острый инфаркт и сказал, что лучше ее не шевелить. Но это же приблизительно. Понимаешь, она моя первая учительница и она мне как вторая мать. Прошу тебя: съезди сам или пошли туда кого-нибудь из лучших своих врачей — вы раньше меня успеваете. Очень прошу, Игорь Евгеньевич. Я вас не раз выручал, а теперь вот нужна ваша помощь. В долгу не останусь.

— Та-ак... — на мгновение задумался Васильев. — С машиной у нас... Ладно, решим. Не волнуйтесь, Павел Андреевич, сделаем все, что можно. Минут через десять выедем и ехать постараемся на предельной скорости.

— Спасибо тебе. Удачи.

Велешев сунул телефон в карман и, не произнося больше ни слова, жестко сощурившись, смотрел вперед сквозь ветровое стекло.

— Совсем, значит, худо Анне Тимофеевне? — спросил Володя.

— Похоже, что так... — напряженно вздохнул Велешев. И вдруг встрепенулся, просквозил водителя своим “волчьим” взглядом. — Слушай, что ты ползешь, как таракан? Давай-ка жми на полную!

— Нельзя, Павел Андреевич. Машина в обкатке — скорость ограничена.

— Черт бы побрал все эти ограничители! Тогда останови мне какую-нибудь попутную, у которой ничего не ограничено. А то будем ползти так целый век.

— Ладно, попробуем.

Легко обошла их и быстро исчезла из виду одна машина, водителю которой Володя сигнализировал и делал знаки, чтобы тот остановился, потом точно так же вторая. А с третьей повезло — водитель затормозил, и автомобиль — темный сверкающий “Ауди”, замер у обочины. За рулем сидел плотный мужчина лет сорока, больше с ним никого не было.

— Простите, — сказал ему Велешев, — вы, случаем, не в Клинцовский район едете?

— Да, еду в Клинцы.

— Понимаете... Я врач, работаю в Пореченской больнице. Поречье — может, слышали?

— Конечно, знаю Поречье.

— Так вот мне туда надо поскорей. Там человек умирает. Это ведь от шоссе всего три километра.

— Не откажи, браток, — попросил Володя. — Возьми доктора, а то мы

еле тащимся. Машина в обкатке — только что получили. Ползем потихоньку, а тут вдруг звонок...

— Садитесь, доктор, — сказал водитель.

В дороге Велешев познакомился с ним — владельца машины звали Виктором. Они почти не разговаривали — лишь изредка перебрасывались мало-значущими фразами, и гнал Виктор свою сильную машину так, что на поворотах Велешеву приходилось держаться за дверную ручку, а когда преодолевали возвышенности, то дух захватывало, словно от воздушных ям в самолете.

Сворачивая на пореченскую дорогу, Виктор спросил:

— Сразу к больнице?

— Да.

Когда подъехали, Велешев полез в карман за бумажником, но Виктор остановил его решительным жестом:

— Даже и не думайте. Я не из этих. Доктора, который так спешит к больному, довез бы в любой конец района. Идите, не задерживайтесь.

— Спасибо, друг.

В больничном дворе стояла белая легковая машина, и Велешев понял, что кардиологи здесь. В больнице было тихо, в коридоре никого, ему даже показалось, будто мертво все. Из шестой палаты вышла медсестра Саша и, едва не столкнувшись с ним, оцепенела.

— Ну? — произнес он шепотом. — Говори.

— Пока жива, — тоже шепотом ответила она. — Но... очень плохо, Павел Андреевич.

— В сознании?

— В сознании. Она вас ждет. По-моему, из последних сил.

— Скажи, что я здесь. Мне только переодеться.

Ворвавшись в свой кабинет, Велешев сбросил с себя куртку, лихорадочно, но по привычке тщательно вымыл над раковиной руки и, облачившись в белый халат, ринулся в палату.

Анна Тимофеевна лежала под капельницей с открытыми глазами и сразу же увидела его.

— Павел Андреевич... — пытаюсь улыбнуться, едва слышно прошептала она. — Паша... Все-таки дождалась...

Палата была та самая, в которой она летом подружилась с Валерией. У окна стояли Васильев и другой опытный кардиолог — Тучков. Вера Гавриловна и Саша тоже были здесь. Велешев подошел к Анне Тимофеевне, едва касаясь, погладил ее седые волосы и сказал:

— Ничего, Анна Тимофеевна, всякое ведь бывало. Мы выберемся. Я сейчас посмотрю, что тут у нас и как.

— Пашенька... дорогой... я очень устала. Мне надо тебе сказать...

— Павел Андреевич, — шагнул к нему Васильев, — поговорите с ней. Мы... все, чем могли. Но... сами видите... Она очень хочет сказать вам что-то.

Саша подвинула к кровати табуретку, и Велешев сел у изголовья Анны Тимофеевны.

— Я хочу тебе одному... — прошептала она.

Велешев прошелся взглядом по присутствующим, и они один за другим бесшумно исчезли за дверью.

— Паша, — из последних сил говорила Анна Тимофеевна, — тут, у меня под подушкой... письмо. Это... Олегу. Я... все последнее время чувствую... он должен приехать. Он жив... где-то совсем недалеко... Я чувствую. Передай ему. И... ключи от дома... тоже здесь. Возьми. Там, в комод, узел... моя похоронная одежда. И сверху деньги... в конверте. На похороны хватит.

— Боже мой... — коснувшись ее плеча, с болью выдохнул Велешев. — О каких вы похоронах, Анна Тимофеевна? Мы обязательно выберемся.

— Пашенька... — она словно не слышала его. — Наклонись... я хочу тебя поцеловать.

Он наклонился, и Анна Тимофеевна коснулась губами его щеки, прошептала:

— Леру... береги. Вы любите друг друга... любовь надо беречь...

— Вам больше нельзя говорить, Анна Тимофеевна. Не беспокойтесь — я все понял. Постарайтесь заснуть.

— Я усну. Очень устала. Устало... сердце...

Она закрыла глаза и больше уже не произносила ничего. Велешев осторожно коснулся ее запястья — пульс был едва уловим. Он тихо вышел из палаты и направился к врачам, которые стояли у сестринского поста.

— Саша, посиди возле нее, — попросил он медсестру.

Васильев протянул ему полотно последней электрокардиограммы и стал рассказывать приглушенным голосом, какие меры они приняли, какие ввели лекарственные средства. Велешев быстро просмотрел электрокардиограмму и, болезненно поморщившись, попросил:

— Дайте первую.

Просмотрев и эту, он припечатал лист к столу и, не поднимая головы, сказал:

— Все понятно. Спасибо вам, Игорь Евгеньевич. Простите, что оторвал вас от ваших дел.

— Ну что вы, Павел Андреевич. Мы вас столько раз отрывали... Очень жаль, но...

— Да, очень жаль... — глядя в стол перед собой, качал головой Велешев. — Ох, как жаль... Опять... Опять я прозевал.

Врачи стояли, потупившись, не произнося больше ни слова.

Через полчаса Анны Тимофеевны не стало.

Вечером Велешев позвонил Валерии.

— Валера, — сказал он без всяких предисловий, — Анна Тимофеевна умерла. Послезавтра похороны. Приезжай.

— Как это — умерла? — вскричала она. — Мы же ведь совсем недавно... Все было хорошо...

— Ты приедешь?

— Нет, я не могу! На похороны я не могу. — Валерия говорила с каким-то почти истерическим надрывом. — Не могу я — можешь ты мне поверить?

— Почему?

— Я... Мне... Мне сейчас не вырваться. Нет, не то... Я лучше потом... Я потом обязательно приеду.

— Анна Тимофеевна вспоминала о тебе в свой последний час.

— Я приеду. Но сейчас не могу — пойми ты в конце концов!

Велешев стиснул зубы и положил трубку.

...Организацию похорон он взял на себя.

Гроб с телом Анны Тимофеевны несли, сменяясь время от времени, крепкие ребята — школьники старших классов. Провожала ее вся школа — занятия в этот день отменили. Шло за гробом и множество поселкового люда. Велешев, пожалуй, никогда не видел в Поречье таких многолюдных похорон. После отпевания в церкви хоронили Анну Тимофеевну в той самой оградке на окраине кладбища, где была погребена земля, которую она привезла с могилы мужа из дальних сибирских мест. “Теперь надо будет поставить им общий памятник...” — думал Велешев, глядя, как, скрывая гроб, заполняет могилу летящая с лопат земля.

Потом были поминки, тоже очень многолюдные, в школьной столовой, где поминали когда-то жену Велешева Людмилу. И опять он сидел, отрешенный от всех, машинально кивал, когда к нему обращались, слышал, словно сквозь сон, теплые слова, которые говорили об Анне Тимофеевне, и думал, что остановилось уже третье близкое ему сердце. “И снова я прозевал, — сверлило душу. — Проморгал, проворонил...”

И потом на работе все никак не мог прийти в себя — сумрачно было в душе, и когда к нему подходили спросить о чем-либо, посоветоваться, то от одного только его взгляда у людей пропадала всякая охота задавать вопросы. Понимал, что так нельзя, но ничего не мог с собой поделать. Любые мысли о Валерии Велешев старался глушить — она не звонила, и он не хотел думать о чем бы то ни было в связи с ней.



На третий день после похорон, в обеденное время, в кабинет к нему вошла заведующая хозяйственной частью Евсеевна и, уперев руки в бока, заявила:

— Все, Павел Андреевич, моих нервов больше не хватает на вас смотреть. Вы третий день не обедаете. Давайте-ка — марш на кухню.

— Да я, Евсеевна... Как-то не хочется.

— И слушать не желаю. Я постарше вас — должны уважение иметь. А ну-ка — живо!

Она подошла сбоку и начала бесцеремонно выталкивать его из-за письменного стола.

— Ладно, Евсеевна, сдаюсь, — поднял он руки. — Успокойся, сам пойду.

На кухне повариха подала ему на стол винегрет с селедкой, потом поставила тарелку с дымящимися щами. А Евсеевна достала откуда-то бутылку водки — на случай приезда какого-либо важного гостя или попросту нужного человека. У нее всегда имелось в запасе спиртное — и набулькала больше половины чайного стакана.

— Хлопни, Павел Андреевич. — Иногда она называла его на “ты”. — И не возражай, а то я почти злая.

— Ну ты же знаешь, что на работе я не пью. Если только с нужными людьми слегка пригубливаю.

— А эту загуби до дна. Отпусти ты себе душу-то, в конце концов.

И он послушался. Выпил водку и винегрет с селедкой съел, и щи, и третье блюдо — котлету с рисом. И даже от компота не отказался. Потом благодарил Евсеевну — с этого момента и в самом деле в душе вроде бы начало становиться все на свои места.

Вечером того же дня приехал Отроченков — кто-то подвез его к велешевскому дому на легковой машине перед сумерками.

— Ночевать пустишь? — войдя в дом, спросил он.

— Пущу, — обрадовался Велешев. — Проходи, раздевайся.

Фадеич неспешно снял с себя куртку, устроил ее на вешалке и, шагнув к Велешеву, молча пожал ему руку, приобняв коротко, утешительно похлопал его по спине. Потом стал опорожнять свою сумку — выставил на стол бутылку водки, один за другим выложил несколько свертков с едой.

— Я так понимаю, — негромко произнес Велешев, — что ты в курсе...

— От кардиологов узнал. К сожалению, с опозданием, а то приехал бы на похороны. Что же ты не сообщил-то?

— Да я думал... не стоит тебя беспокоить.

— Учитывая то, что мы с тобой едем в одной телеге, — сказал Отроченков, — а также то, что Анну Тимофеевну ты поддерживал с моей помощью, и я безмерно уважал ее, мне сейчас стоило бы здорово обидеться на такие твои слова. Но думаю, что до тебя и без того дошло. Чего стоишь-то? Доставай картошку — я почищу. А ты режь вот сыр, ветчину, банку с маслинами открой...

— Прости, Фадеич. Я не знал, что ты так...

— Да пора бы уж знать.

Велешев не единожды рассказывал Фадеичу о том, как сложилась у Анны Тимофеевны жизнь, о ее удивительной доброте, мудрости и мужестве. И невропатолог относился к ней с особым вниманием, иногда подолгу разговаривал с женщиной, от которой веяло истинным сердечным теплом. “Понимаешь, — признался он как-то Велешеву, — ухаживать от нее не хочется. Всяких мне доводилось видеть старушек, но эта... Такой пронизательный, глубокий ум... Да она самая настоящая провидица”. И теперь Велешев осознал вдруг, что в отношении Отроченкова к Анне Тимофеевне было что-то сродни его, велешевскому, отношению к ней, и Фадеич вправе обидеться на то, что лишен был возможности проводить ее в последний путь.

— Прости, Фадеич, — повторил Велешев. — Олух я.

— Да ладно, не казни себя. Помянем сейчас вдвоем.

Когда выпили за помин души Анны Тимофеевны, Велешева словно прорвало вдруг. Сильно волнуясь, он стал прерывисто рассказывать, как застиг его в дороге телефонный звонок Веры Гавриловны, как он сразу же связал

ся с Васильевым и упросил его выехать в Поречье, а сам, оставив Володю ползти на новой необкатанной машине, пересел на попутную, которую водитель, добрый человек, гнал потом с сумасшедшей скоростью.

— Мужики из кардиологии сделали всё, что могли, упрекнуть их не в чем... — глядя в стол перед собой, сокрушенно кивал головой Велешев. — Когда я приехал, сердце у нее почти уже не работало. Но она была в сознании и с полным спокойствием отдала мне распоряжения насчет своих похорон, попрощалась со мной. Понимаешь... — глаза у Велешева наполнились слезами, и он со злостью вытер их кулаком. — Она ждала меня, и такое ощущение, что сумела отодвинуть смерть, чтобы дожждаться. А я... Я не заходил к ней домой целых две недели. Зашел бы — глядишь, удалось бы подкрепиться. Третье... Проворонил ведь уже третье близкое сердце...

— Не надо, Паша, не нагнетай, — сказал Отроченков. — Ты же опытный кардиолог, столько видел всякого-разного — тебе ли не знать, что такое смерть? А рассуждаешь сейчас как-то... почти по-детски. Ну, скажем, зашел ты к ней вечером, удостоверился, что сердце более-менее в норме. А к утру могло произойти то, что произошло, — отлично ведь знаешь, как оно у нее было изношено.

— Все это так, но...

— Какие тут могут быть “но”? Не хуже меня понимаешь, что смерть — дело неотвратимое, и ничто так не скрыто от человека, как время ее появления. Она подобна вору или хищнику — подкрадывается именно тогда, когда о ней вовсе и не думаешь. Любое мгновение может стать последним в нашей жизни. А это ведь, пожалуй, милосердие Божие — то, что человек не знает, когда умрет. Возможно, Господь для того и сделал неизвестной для человека его кончину, чтобы человек был внимателен к каждому своему дню. Ты мне много рассказывал об Анне Тимофеевне, да и сам я перетолковал с ней о многом, так вот она-то, судя по всему, знала цену своим дням. Потому так спокойно, так достойно и умирала. Даже, как ты говоришь, задержать ей удалось смерть-то — дождалась тебя, отдала свои последние распоряжения и попрощалась с тобой. Тут, брат, хоть и с грустью, а восхищаться надо. Нам бы, грешным уродам, жить бы да умереть так же...

— Согласен с тобой, — кивал Велешев, — целиком и полностью согласен, но в душе все равно почему-то гнетущее ощущение вины.

— Это автоматически передалось сюда из твоего прошлого, но ты это к прошлому не прилепляй. Поверь мне: на сей раз ни малейшей твоей вины нет. Можешь с полным правом сказать себе: “Я сделал все, что мог”. А боль — куда ж от нее денешься? С болью от потери истинно родного человека никакая другая боль, конечно, не сравнится.

— Фадеич, еще раз прости меня. И спасибо, что ты приехал.

— Да брось ты, в конце концов.

Выпили еще, посидели немного молча. Потом Велешев со вздохом поднялся из-за стола, сходил в комнату и принес письмо, которое Анна Тимофеевна просила передать ее сыну, если тот вернется.

— Вот, — положил Велешев конверт перед Отроченковым. — Сказала, что все последнее время ее преследовало чувство, будто он жив и вроде бы даже где-то не так уж и далеко. Просила передать ему это письмо, когда он придет.

“Сыну моему Олегу Дмитриевичу Малоярову”, — было написано на конверте. И чувствовалось, что рука, пыгавшаяся вывести эти слова по-учительски четко, сильно дрожала.

— Может, уже предчувствовала свою встречу с ним там... — указал глазами вверх Велешев.

— Да нет, брат, письмо-то не в ту жизнь, а в эту.

— Что вот мне теперь с ним делать? — потупился Велешев. — С того времени, как Олег пропал, столько лет прошло... Так горько смотреть на этот конверт...

— Положи, и пусть лежит, — сказал Отроченков. — Береги его. Анна Тимофеевна была вещая душа, да и потом, знаешь ли... в жизни всякое случается, особенно в нашей нынешней.

Велешев стал рассказывать, как прошли похороны, и Фадеич спросил осторожно:

— А Валерия Сергеевна приезжала?

— Звал, но не приехала.

— Вы что — поссорились?

— Ничуть. Я был там у нее — все прошло очень даже хорошо. А когда позвонил отсюда, сказал, что умерла Анна Тимофеевна и позвал на похороны, она с какой-то даже истерикой стала отмахиваться — дескать, не могу приехать, и все тут.

— Может, у нее там какая-нибудь серьезная передрыга?

— Ничего она толком не объяснила. Не могу — и точка. А мне совсем не до того было, чтобы выяснять. Что тут выяснять, если человек отмахивается как черт от ладана?

— И с того раза больше не общались?

— Нет. Я ей не звонил, и она не звонит. Ума не приложу: что же это за отречение такое?

— Ну, ты спешных выводов-то не делай, — сказал Отроченков. — Я думаю, у нее какая-то важная причина. Она приедет.

— Да почти уже неделя прошла.

— Вот скоро и приедет.

— Ну, не знаю...

— Все узнаешь. Говорю тебе — не спеши с выводами.

## Глава двадцать восьмая

Прошло еще два дня. Валерия по-прежнему не давала о себе знать, и Велешев не звонил ей. Несколько раз он почти уже решился набрать ее номер — вдруг и в самом деле случилось у Валерии что-то серьезное? Но в последний момент в душе резким импульсом вспыхивало: “Не стоит!” — и Велешев отходил от телефона куда-нибудь подальше.

На сей раз, поборов желание позвонить Валерии, он накинуд на плечи куртку и вышел во двор. Ночь была ясная, тихая, колочее-свежая — уже чувствовался заморозок. Звезды крупно и четко сияли в темной синеве неба. Велешев сел на скамейку и стал смотреть в завораживающую небесную глубину. “Вечное молчание бесконечных пространств пугает меня”, — вспомнились вдруг ему слова Блеза Паскаля, одного из величайших ученых и мыслителей мира. “Странно, — подумал Велешев. — Почему это его пугало? Я вот смотрю — и дух захватывает вовсе не от страха, а от какого-то счастливого родства с этой молчаливо сияющей глубиной”.

С улицы донесся мягкий звук автомобильного двигателя — он медленно приближался и затих почти у самых ворот. Хлопнула дверца машины, квакнуло противоугонное устройство. Приехал кто-то явно по его душу, и надо было идти открывать ворота, но Велешев почему-то не двигался с места, словно оцепенел. Человек за воротами нацупал щеколду и, нажав на нее, понял, что ворота заперты изнутри. Тогда он подергал щеколдой и, решив, наверное, что этот стук слишком тих, постучал в ворота еще и кулаком. Это был кто-то нездешний — здешние все знали, что на велешевских воротах имеется кнопка звонка.

— Кто там? — крикнул Велешев.

— Простите за беспокойство, Павел Андреевич, — густым низким голосом отозвался мужчина за воротами. — Мне очень нужно с вами поговорить.

Велешев открыл ворота и в тусклом свете уличного фонаря, висящего на столбе напротив, разглядел высокого крупного мужчину — бросились в глаза его совершенно седые, коротко стриженные волосы и такие же, почти белые, аккуратные борода и усы, закрывающие пол-лица.

— Простите, Павел Андреевич, — повторил тот. — Мне рекомендовали обратиться к вам... Я, конечно, не вовремя, но... очень прошу...

— А с кем имею честь? — осведомился Велешев.

— Да я... Знаете ли... Конечно, надо было сразу представиться... — незнакомец говорил отрывисто, словно ему мешало что-то, перехватывало горло. — Я дальний родственник Анны Тимофеевны Малояровой. Василием меня зовут. Ехал тут мимо по трассе... по своим неотложным делам... Много лет тетью Аню не видел, а тут еду мимо... Дай-ка, думаю, заверну хоть на полчаса, справлюсь, как она. Подъезжаю к дому — света нет, на воротах замок. Постучал к соседям, и мне сказали...

— Да, похоронили мы Анну Тимофеевну. Завтра будет девять дней. Проходите, пойдемте в дом.

В доме гость сощурился от света, и в этом прищуре, в усталом, но внимательном взгляде серых, словно бы выцветших досветла глаз едва уловимо промелькнуло что-то, показавшееся Велешеву отдаленно-знакомым. Одет мужчина был обыденно, скорее даже по-походному, но в этой на первый взгляд простой одежде чувствовались добротность, отличное качество. Веяло от него опытом, силой, но, однако, заметно было и то, как растерян он сейчас и подавлен.

— Соседка Анны Тимофеевны сказала мне, — в нерешительности застыв у порога, заговорил Василий, — что вы все последние годы заботились о ней, лечили ее. И... умерла она... вроде бы на ваших руках... И насчет похорон... Об этом я от соседской женщины тоже узнал все.

— Вы раздевайтесь, — сказал Велешев. — И проходите, присаживайтесь-ка вот сюда, к столу. Я еще не ужинал, да и вам, думаю, не помешает перекусить с дороги. Сейчас соорудим что-нибудь.

— Спасибо за приглашение. У меня там, в машине, есть кое-что, — встрепенулся гость. — Пойду принесу.

Он вышел и вскоре вернулся с объемистой сумкой. Опустив ее на пол, разделся с тяжелым вздохом, повесил у двери куртку и стал расшнуровывать свои высокие, с толстой рифленой подошвой ботинки.

— Разуваться-то не стоило бы, — сказал Велешев. — Полы не такие уж и чистые.

— Ничего, пусть ноги отдохнут. Тапочки у меня тут есть.

Потом гость поставил свой саквояж на табуретку и, жвыкнув молнией, раскрыл его, начал молча выкладывать на стол съестные припасы — прозрачные упаковки с нарезками ветчины, колбасы, красной рыбы и еще чего-то, банки каких-то консервов, какие-то коробки и свертки. И увенчал это все вместительной бутылью с незнакомой Велешеву этикеткой. Емкость, похоже, содержала в себе какое-то отнюдь не слабое спиртное. Велешев уже чистил картошку и, глянув на такое обилие различной снеди, удивленно покачал головой:

— Куда вы столько всего? Это же на целый взвод. Прикиньте, что нам лучше к картошке, а остальное уберите — вам и в дороге пригодится, и домой привезете.

— Коль уж вы приняли меня, Павел Андреевич... — как-то виновато глянул гость на него своим светлым выгоревшим взглядом, — то разрешите мне... хоть какую-то лепту... Ведь завтра девять дней, и я... Надо же нам помянуть ее. И помянуть хочется как-нибудь получше. Спешил встретиться с ней... — судорожно вздохнул он, — а вышло так-то вот оно — к девяти дням...

— Простите, — дрогнуло у Велешева сердце. — Что это я, в самом деле? Конечно, надо помянуть как следует, и хорошо, что вы заехали ко мне. Ради Бога, не сочтите меня каким-нибудь плесневелым сухарем. Просто... в последнее время заклинило что-то в душе, отупел совсем.

— Да не ругайте вы себя, — махнул рукой гость. — Это меня надо ругать — тревожу людей в столь поздний час.

Пока варилась картошка, они, изредка перебрасываясь фразами, резали, раскладывали по тарелкам принесенную из машины гостем дорогую снесь. Для двоих ее в самом деле было слишком много, но так хотелось Василию, и Велешев больше уже не протестовал.

Стол накрыли в большой комнате. Там в переднем углу, перед иконами, висела лампадка, и, подставив стул, Велешев снял ее, поправил фитилек,

подлил из бутылки масла. Потом зажег, убавил фитиль до исчезновения копти и, осторожно водрузив лампаду на прежнее место, сказал:

— Идите сюда. Помолимся, как умеем. Если знаете подобающую молитву, можете вслух. А я предпочитаю молча.

— Я тоже.

Они стояли перед иконами, время от времени осеняя себя крестным знаменем, и вдруг у приезжего вырвался хриплый вскрик. Он рухнул на колени и, ткнувшись лбом в пол, обхватил голову руками. Велешев не трогал его, продолжал молиться, едва заметно шевеля губами. Через минуту тот поднялся с тяжким вздохом и, отводя взгляд в сторону, положил Велешеву руку на плечо, пробормотал глухо:

— Если бы вы знали, как я вам благодарен...

— Да не за что меня благодарить. Пойдемте за стол.

Стол от края до края был заставлен закусками, словно сесть за него собирались по меньшей мере десять человек. Однако Велешев теперь вполне отчетливо понимал, какие чувства движут этим загадочным мужчиной, и больше уже не удивлялся ничему. Они сели за стол друг против друга, и Василий с хрустом свинтил пробку с бутылки.

— Что за напиток? — спросил Велешев.

— Это ракия.

— Болгарская водка?

— Нет, сербская. Не беспокойтесь — виноградная, очень мягкая.

Когда рюмки были наполнены, Велешев взял свою и встал. Поднялся с рюмкой в руке и гость.

— Ну что ж... — сказал Велешев. — Пусть земля ей будет пухом. Упокой, Господи, светлую, усталую душу Анны Тимофеевны. Даруй ей Царствие Твое небесное и сотвори ей вечную память.

— Вечная память... — хриплым шепотом повторил Василий.

Несколько мгновений он стоял, словно окаменев, с крепко сжатыми зубами и закрытыми глазами, потом шумно, болезненно выдохнул из себя воздух и единым махом опрокинул в рот спиртное. Едва только начали закусывать, как он положил вдруг вилку и предложил:

— Давайте еще по одной. Что-то никак... не размягчается в груди, сдавило там все.

— У меня то же самое, — ответил Велешев. — Наливайте. А потом надо будет поесть как следует.

— Добро.

Выпили на сей раз без слов и ели тоже молча.

— Мне соседи Анны Тимофеевны обмолвились, — подняв глаза на Велешева, тихо заговорил гость, — что вы опекали ее всерьез. Наверное, не легко ей жилось?

— Да, жилось ей очень непросто. Но она никогда ни на что не жаловалась. Даже на боль в сердце старалась не жаловаться, и мне трудов стоило убедить ее, чтобы она ставила меня в известность о любом, даже самом малейшем сбое в работе сердца. Анна Тимофеевна много читала, о многом размышляла и всегда говорила, что живет хорошо. И другим помогала жить. Люди шли к ней за советом и благодарили потом. И мне она часто помогала — как-то незаметно умела снять душевную тягость, навести на правильное решение. И жила постоянной надеждой на возвращение сына, который пропал в Афганистане. Неустанно переписывалась с какими-то организациями, которые разыскивают без вести пропавших, встречалась с сослуживцами Олега. Словом, разыскивала его как могла — наверное, точно так же, как разыскивала в свое время мужа. В том, что Олег жив, она не сомневалась ни минуты и до последнего своего часа верила, что сын вернется.

— Я выпью еще, — сказал Василий. — А вы как?

— Мне пока хватит.

Гость, стараясь не глядеть на Велешева, быстро выпил, подцепив вилкой маслину, отправил ее в рот. Потом отодвинул тарелку, оперся лбом на сложенные в единый кулак ладони, отчего глаз его не стало видно, и произнес едва слышно:

— Если вам не трудно... Как она умирала?

— Мне трудно... — дрогнул у Велешева голос. — Но я расскажу.

И рассказал почти так же, как рассказывал Отроченкову — начиная со звонка Веры Гавриловны, который застиг его в дороге.

— Все последнее время ее преследовало чувство, — говорил Велешев, — будто Олег где-то недалеко и скоро приедет. И, умирая, она ждала меня, чтобы передать ему... — Велешев замолчал вдруг и, тяжело вздохнув, уставился в стол перед собой.

— Что же вы замолчали? — отняв руки от лица, встрепенулся, едва не вскочил его собеседник.

— Хорошо, я продолжу, — медленно поднялся со своего места Велешев.

Он шагнул к письменному столу, выдвинув ящик, достал оттуда конверт и положил перед гостем:

— Просила передать вам вот это письмо, Олег Дмитриевич.

Гость накрыл письмо ладонью и, склонив голову, довольно долго молчал.

— Почти с самого начала чувствую, — наконец произнес он хрипло, — что вы поняли, кто я такой на самом деле. Давно надо было бы открыться, а я продолжал играть эту идиотскую роль. Противен сам себе. С соседкой-то маминой говорил во дворе — она меня не узнала. Думал, что и у вас так же сойдет. Ну? — подняв голову, остро глянул он в глаза Велешеву. — Что же вы не спрашиваете, почему это я, как беглый каторжник, изо всех сил стараюсь, чтобы на родной земле меня никто не узнал? Только что умерла моя мать, а я слоняюсь тут по дворам и скрываю свое имя...

— Наверно, у вас есть на это веские причины, — спокойно ответил Велешев. — И любопытничать, лезть в вашу душу я не собираюсь. Сочтете нужным — объясните сами. Могу только заверить вас, что я не побегу никуда сообщать да и вообще не обмолвлюсь никому о том, кто вы такой на самом деле.

— Спасибо, Павел Андреевич, — с кривой болезненной усмешкой ответил гость. — Только поверьте уж ради Бога... В моей жизни хоть и было много схожего с каторгой, а то и похуже, однако я не беглый каторжник. Вполне законно приехал на короткий срок из другой страны. Могу показать паспорт, выданный мне этим государством. Имя в нем, правда, тоже другое, хотя и очень похожее на мое. Это мера вынужденная. Вины перед Родиной не ощущаю ни малейшей, а то, в чем она передо мной виновата, давно уже ей простил. Но... в плену ведь был. А потом... скитаясь по белу свету, приходилось выживать за счет своей военной профессии. В тех условиях, в которые меня швыряла судьба, другой профессией обзавестись никак не удавалось. И зная наклонности некоторых наших отечественных контор, я решил, что первые шаги по родной земле, на которой меня так долго не было, лучше делать, не афишируя своей кровной причастности к ней. То есть не раскрывать себя пока никому, кроме матери. Уверен был, что кроме нее никто меня тут не узнает. Да и в Поречье-то въехал, когда уже темнело. А вы вот все-таки узнали...

— Ну, не то чтобы узнал... Что-то бросилось в глаза из прошлого, из школьных лет, особенно во взгляде.

— Хм, неужели что-то осталось от той поры?

— Наверное. От той поры всегда что-то да остается. Ну а потом не так уж и трудно догадаться.

— Так вот, Павел Андреевич, — продолжал гость. — Неведомо, каким будет интерес к моей персоне этих упомянутых контор. Честно говоря... боюсь, как бы не отравили мне и моим близким всю оставшуюся жизнь. Я ведь не один теперь — у меня жена и маленький сын. И за маму боялся — уж она-то хорошо знала, как умеют отравлять. Отцепенцем оставаться не собираюсь — рано или поздно все равно верну себе российское гражданство. Но сделаю это только тогда, когда буду абсолютно уверен, что за все мои мучения в плену и мытарства после плена никто мне здесь душу на кулак наматывать не будет.

— Но... избегая контактов с этими конторами, — сказал Велешев, — как же вы сможете получить такие гарантии?

— У меня есть надежные друзья, они взяли это дело в свои руки. Им удалось выйти на тех... Короче говоря, удалось подключить людей, которые имеют устойчивые связи в Москве. Эти люди знают, как и с кем вести переговоры, чтобы меня на Родине приняли нормально. Друзья просили не высовываться пока, не лезть на рожон, а я вот не выдержал. Навалилась какая-то жуткая тоска, и показалось, что сердце лопнет, если не увижу мать. Всегда тосковал по ней, а тут как-то особенно скрутило меня — думаю, надо ехать, несмотря ни на что. Жена понаблюдала за мной и тоже решила, что мне надо ехать. Ну и поехал на машине. Хоть и мороки на границах тьма-тьмушая, но все равно сам себе хозяин. И вот опоздал. Если бы вы только знали, как больно...

— Знаю. Не буду вам мешать, Олег Дмитриевич. Читайте письмо, а я пойду покурую во дворе.

Выйдя во двор, Велешев сел на скамейку, закурил и, глубоко затягиваясь дымом, стал смотреть на холодно мерцающие звезды. Он не прикасался к сигаретам с той поры, когда наведаясь в городе в свою пустующую квартиру, ни разу не закурил и во время похорон Анны Тимофеевны. А теперь не смог выдержать — надо было хоть как-то сбить напряжение. Да не просто напряжение — он был глубоко потрясен, хотя, кажется, и ничем не выдал гостю этого потрясения.

“Вот тебе пример... — кивая головой, думал Велешев. — Вот тебе сокрушительное доказательство того, какой невероятной способностью, какой святой силой обладает человеческое сердце. Анна Тимофеевна за тысячи верст чувствовала своим сердцем, что ее сын жив, и сердце Олега отозвалось из дальних далей на последний зов материнского сердца. Такой же святой силой чувства, преодолевающего расстояние и время, обладали и сердца моей матери, моей жены, а я... Как автомеханик лезет с гаечным ключом в мотор машины, так и я лез когда-то со своим инструментарием в чужие человеческие сердца, а зова родных сердец не слышал. Жил и работал, полагаясь на остроту ума, и не замечал, как глохнет свое собственное сердце. Чье-то больное сердце, конечно же, необходимо спасти, в том числе и оперативным путем, но при этом обязан был чувствовать, понимать, что это не просто комок плоти, природный насос, а великая, Богом данная человеку святость, соединяющая его со многими, в том числе и с теми, кого уже нет на земле. Господи, Боже мой... Сколько сейчас молотят языками о трагическом состоянии России, без конца гадают о причинах такого состояния... Да чего тут гадать? Нынешняя наша трагедия — это трагедия оглохшего и заглохшего сердца. И как благодарен я тебе, Господи, за то, что понемногу возвращаешь ты моему сердцу и слух, и зрение...”

Когда он вернулся в дом, Олег Дмитриевич, сжав голову ладонями, сидел за столом, словно окаменевший. Материнское письмо лежало перед ним. Велешев со вздохом уселся на прежнее место. Понимая, что любые слова сейчас абсолютно неуместны, он подпер щеку кулаком и, глядя перед собой, тоже молчал.

— Вы, Павел Андреевич... — медленно сказал Малояров, — обязательно должны прочитать это письмо.

— Я? — удивился Велешев. — Что вы, Олег Дмитриевич. Это же настолько личное, и совать мне свой нос...

— Тут кое-что в немалой степени и вас касается, — протянул ему Малояров листок, исписанный нетвердой рукой Анны Тимофеевны. — Да в общем-то, пожалуй, это письмо нам обоим. Так что читайте без всякого стеснения. А я выйду хоть малость освежить голову. Да и сердце... тоже горит.

“Дорогой и любимый мой Олежка! — читал Велешев. — Вот уже почти двадцать лет, как ты пропал на войне, и все эти годы я верила, да более того — я знала, что ты жив. Сердце чувствовало, что ты живешь где-то далеко-далеко, и оно всегда мне подсказывало, когда тебе было особенно плохо. И когда у тебя в жизни случалось облегчение — это я тоже чувствовала, и в такие дни мне жилось хорошо и радостно. Во сне я почти всегда видела тебя озабоченным, усталым, словно ты постоянно преодолевал какие-то труд-

ности, о которых старался мне не говорить. Лишь однажды сказал: “Еще немного, и все будет в порядке”.

Сегодня утром я только-только открыла глаза, и сразу же словно кто-то шепнул мне, что ты скоро приедешь. Сердце ощущало весь день, что обязательно приедешь, а к вечеру оно заболело от этой радости, и во мне сразу же ослабело все. Боюсь, как бы не случилось так, что не сумею дожидаться тебя, вот потому, пока еще есть какие-то силы, и решила написать это письмо. Отдам его Паше Велешеву, а он, если что, передаст тебе.

Хочу сказать о нем, о Павле Андреевиче, — это очень важно. Он моложе тебя, и ты, возможно, не помнишь его, но знай: Паша не только бывший мой ученик, не только доктор, который все последние годы подкреплял мое сердце, он еще и старался поддерживать меня душевно, как сын поддерживает мать, помогал во всем. И я очень хочу, чтобы вы подружились. Чтобы поняли друг друга и стали братьями. Я думаю, что такого понимания, такого сочувствия, как у Павла, ты здесь ни у кого не найдешь.

И прошу вас: не оплакивайте меня. Жизнь принесла мне немало страданий, но вот на склоне ее хочу сказать, что я счастлива, потому что мое сердце все свои силы отдало любви, вере и верности.

И хочу посоветовать вам обоим: не сетуйте, как многие сейчас, на то, что время нынче жестокое и слепое, что это время жадности и зависти, ненависти и бессердечия. Для кого-то воистину так, а для других это время любви, веры и верности. Уж я думаю, что вас-то с вашим жизненным опытом не надо учить, кого и что должны вы любить в этом прекрасном мире. В нем столько достойного любви, что будь у меня сто жизней, я, наверное, и за такой срок все перелюбить не успела бы. Вы только поймите, что истинный движитель жизни — это любящий человек. Он надежно защищен, он сильнее, чем все другие. Его сердце горит и сжигает все жизненные тернии — всю эту жадность, зависть и ненависть. Если любишь — ты освещен изнутри, и в душе у тебя тепло, которое может согреть как одного, так и многих.

Зарубите себе на носу: для вас нынешнее время — это время любви. Дорогие мои...

На этом заканчиваю. Очень устало сердце. Как бы мне хотелось обнять тебя, Олежа! Но на все воля Божия.

Твоя мама”.

## Глава двадцать девятая

— Ну что, Павел Андреевич... — разливая по рюмкам ракию, сказал Малояров. — Мне кажется, все складывается так, что мы вместе... точнее говоря, воедино... должны принять какое-то очень важное решение.

Он отсутствовал с полчаса — наверное, сидел на скамейке во дворе, перемалывал в душе все обрушившееся на него. И вернулся в дом каким-то неожиданно просветленным, уверенно подтянутым.

— Для начала, — ответил Велешев, — давай-ка перейдем на “ты” и станем называть друг друга просто по имени. А что касается решений... Могу тебе сказать, что воспринимаю это письмо как завещание нам обоим.

— Я его воспринимаю точно так же. И что же у нас из этого следует?

— Ты старше меня, — усмехнулся Велешев. — Вот и должен был первым сообразить, что из этого следует. По-моему, из этого следует то, что надо нам с тобой становиться братьями.

— Я вообще-то первым и сообразил... — ответил Олег, пряча усмешку. — Да только подумалось: вдруг еще сочтет, что навязываюсь.

— Хм... Интересно, чего же все-таки в тебе больше — скромности или хитрости?

— В процессе жизни во мне все это, наверно, так перемешалось, что получился какой-нибудь мудреный гибрид. Скорее всего именно он-то сейчас и проявляется.

— Ладно, этот гибрид вроде бы более-менее приемлем. А если серьезно... Нам с тобой, Олег, не по двадцать лет. Жить остается...



— Да, остается самый ответственный отрезок времени. И надо, чтоб все было накрепко, честно и навсегда. Ты это хотел сказать?

— Именно это. Если в твой гибрид входит еще и такая прозорливость, то он у тебя поистине уникальный.

— Ну что ж, Паша... — Олег встал и протянул Велешеву руку. — Все ясно. Держи.

Они обменялись крепким рукопожатием, а потом еще и обнялись через стол как-то неуклюже, стукнувшись лбами. И усевшись, некоторое время молчали, не глядя друг на друга.

— Сердце дрожит, — сказал Олег. — Чего-то я сильно разволновался.

— Я тоже. Давай выпьем.

— Давай. За нас и за все наше.

Когда выпили и пожевали немного молча, Велешев попросил напрямую:

— Ты бы рассказал о себе.

— Ох, тяжелую задаешь задачу... — болезненно поморщился Олег. — Не только говорить, но и вспоминать тошно. И если все рассказывать, на это уйдет несколько суток.

— Ну хотя бы вкратце.

— Да понимаю, что обязательно должен тебе пооткрыть, где меня столько времени носило и куда втыкало. Ну... во-первых, плен. Был я командиром группы спецназначения. Боевые выходы у нас выполнялись в основном нормально, потерь было мало. Но там ведь как — мы охотимся на “духов”, а они охотятся на нас. И однажды сумели эти долгополые посадить нас в крепкий мешок.

— Ты мне как-нибудь попроще.

— Ну это такая хитрая засада в горах... В общем, такой бой в окружении, когда лупят в тебя с разных высот. Из такого боя если и выходят живыми, то далеко не все. А то и вовсе не выходит никто. Пулеметчика моего свалили сразу. Я схватил пулемет, приказал ребятам прорываться по ущелью перебежками в обратном направлении и, запросив по рации “вертушки”, начал бить из-за валуна короткими очередями по вспышкам “духов”. И тут по мне дул гранатомет. Граната угодила в расщелину, которая была рядом, и, наверно, эта расщелина пригасила разброс осколков, иначе меня занесло бы на куски. Контузило, однако, сильно — отключился начисто. Очнулся от пинков. Ну вот тебе и плен. Подняли меня пинками на ноги, глянул я кругом — лежат мои ребята: один, другой, третий... Мертвые. И пленных кроме меня никого. Удалось ли кому прорваться, приходили “вертушки” или нет — ничего не пойму... Потом уж только понял, что нет, не приходили “вертушки”, иначе бы эти долгополые вокруг меня так громко не гоготали...

Олег тяжело вздохнул и, уставившись на свои руки, сложенные на столе, некоторое время молчал. Велешев не торопил его.

— Мы когда на задание ходили, — продолжал Олег, — то экипировались все одинаково. Знаков различия на камуфляжах ни у кого никаких не было, и документов с собой не брали. Ну, значит, приволокли меня “духи” в свое “стойбище”, попинали, потолкли еще ногами и прикладами для надежности, потом потащили к своему командиру на допрос. Переводчик у них имелся довольно неплохой. “Как зовут? — спрашивают. — Какое звание?” “Рядовой Иванов”, — отвечаю. Они рассмеялись все, залопотали между собой. И командир посмеивается, четки перебирает. Потом протараторил что-то переводчику, и тот говорит мне: “Нет, шурави, ты не рядовой Иванов. Ты майор Малояров. Зачем обманываешь? Мы тебя хорошо знаем — ты много наших побил”. “Вот, — думаю, — прохиндеи. Все знают”. Ну, конечно — у нас просто разведка, а они на своей земле, которая для них слухом полнится. И началось... Для пленных, особенно для офицеров, подарочный набор у них богатый. Перво-наперво предложение: принимай ислам, становись нашим братом, воином аллаха. Не хочешь? Молчишь? Ну тогда принимай вот это. И жуткие побои, издевательства — до полусмерти. Отлеживаешься потом в вонючей яме, где еще трое-четверо таких же бедолаг. На колени ставили, чтобы горло перерезать, как барану. Схватят за волосы,

упрутся ногой в спину, загнут голову назад и чикнут слегка ножом по горлу, чтобы немного кровь пустить. Делают вид, что раздумали — живи, дескать, пока. И смотрят на тебя, хохочут. Однажды солдатику нашему отмахнули голову на моих глазах. Гляди, мол, — с тобой то же самое будет. И к стенке ставили. Дадут очередь над головой и наблюдают, как ты себя чувствуешь, ржут опять. Очень любят они подобные игры — забавляются, как дети. Ну что? Может, хватит с тебя таких картинок?

— И долго так продолжалось?

— Да месяцев, наверно, пять. Потом понемногу стали убавлять издевательства, кормить начали получше и на работу вытаскивать из ямы. Заставляли грузить-разгружать что-либо тяжелое или глину месить. А однажды и вовсе удивили. Отвели к водопадному ручью, сунули в руку обмылок и дали помыться. И даже одежду выдали — какие-то штаны из грубой ткани и халат в заплатках. Мое-то одеяние уже и надеть было невозможно — оно превратилось в грязные лохмотья. Ну, думаю, затевают что-то новое. К вечеру втолкнули в джип, куда-то повезли. Джуфар сидит впереди — ну, тот самый командир-то, который в плен меня взял. Часа два ехали. Короче, привозят куда-то, где у них, судя по всему, авторитетное сборище, какой-то штаб. Джуфар пошел в этот штаб, а я под охраной двоих нукеров остался в машине. Полчаса сидим, час. И вдруг влетает во двор мощный джип, выскакивают из него двое — разгоряченные, злые. И опрометью в штаб. Через минуту там затараторили, загомонили так, что даже во дворе стало слышно. “Неужто, — думаю, — со мной все это связано? Не зря же меня сюда привезли”. Потом выходит оттуда Джуфар — мрачнее тучи. Глазами так сверкнул на меня, что не по себе стало. Сел он в машину, рывкнул что-то водителю, и попылили мы в обратном направлении...

Олег потянулся к бутылке, плеснул из нее понемногу в рюмки и сделал небольшой глоток. Велешев тоже пригубил слегка.

— Ну и зачем же все-таки тебя туда возили? — спросил он.

— Так вот слушай. Приезжаем, значит, обратно, в Джуфарово “стойбище”, и он показывает мне кивком — иди, дескать, за мной. То есть пригласил в свою халупу. Я остановился у входа, а ему принесли руки помыть, и он расположился на кошке у маленького столика. Показывает мне пальцем место поодаль — садись, мол. Я сел по-ихнему — скрестив ноги. Двое нукеров с оружием остались у двери. Джуфар велел чаю подать — себе и мне. Потом вытащил откуда-то бутылку виски, початую уже, и кивает: будешь? Я руку к груди приложил, поклонился: спасибо, дескать, не откажусь. Короче, хватил виски, перешел к чаю. “Чего это он, — думаю, — раздобрился? Может, перед тем как шлепнуть?” А он пьет только чай и нет-нет да и глянет на меня, хмыкнет, покачает головой. Потом отодвинул от себя пиалу и заговорил резко. Толмач начал переводить. “Тебя хотели обменять, — сказал Джуфар, — на двоих наших, которые в плену у шурави. Ваши начальники сказали, что надо подумать, и думали неделю. Потом они сказали, что двоих за одного — это много. Потом наши стали думать. И согласились: одного на одного. Сегодня хотели делать обмен, и вдруг ваши говорят: никакого обмена не будет. Понял, майор? Ты своим не нужен”. У меня, конечно, челюсть отвисла, внутри обморозилось все...

— Неужели могло такое быть? — покачал головой Велешев. — Чтоб свои отказались...

— Вот и я так же думал. Джуфар тогда похлопал меня по плечу: дескать, не переживай, иди успокойся, поразмысли как следует. Нукерам своим что-то твякнул. И отвели меня уже не в яму, а в мазанку, где был топчан и маленький столик в углу. Лег я на этот топчан и стал размышлять. “Да не может быть! — кипит в душе. — Лапшу мне на уши вешают моджахеды — ишь как здорово все обставили...” Пытаюсь убедить себя в этом, а сам прокручиваю в мозгу каждую деталь и чувствую, что если в чем-то и обманывает Джуфар, то основное все-таки правда. И обдало сердце холодом: ну, конечно, кому ты там такой нужен? Положил всю группу, а сам, целехонек, обретаешься у “духов”...

— Но ведь не вся же группа погибла, — сказал Велешев.

— Что?! — вздернулся Олег. — Как не вся? Ты откуда знаешь?

— Анна Тимофеевна мне говорила. Четверо из пятнадцати сумели прорваться. Три офицера и прапорщик. Она встречалась с ними. И они вспомнили о тебе со слезами. Рассказывали, как ты приказал идти на прорыв и начал прикрывать их огнем.

— Господи... — Оцепенев, Олег некоторое время смотрел на Велешева во все глаза. — Неужто в самом деле прорвались? Прапорщик — это Саня Ковшов. У нас было два прапорщика, остальные — офицеры. А другой прапорщик, Левчуков, как раз тот пулеметчик, которого “духи” свалили в самом начале.

— Насколько я понял из рассказа Анны Тимофеевны о ее встрече с этими твоими боевыми друзьями, они даже и словом не обмолвились ни о каких переговорах с моджахедами по поводу обмена пленными. Судя по всему, абсолютно ничего об этом не знают. Считают, что коль тебя не нашли среди мертвых — значит, захвачен был раненым, причем без сознания. Сказали, что если бы ты мог шевелить хоть одной рукой, то живым бы тебя не взяли. Явно не слышали они об этих обменных перипетиях.

— Вон оно, значит, как... — тяжело вздохнул Олег. — Ребята о переговорах ничего не знают... Хм... Выходит, решалось все втихую на верхах. Мелькала у меня такая мысль, очень часто мелькала... Слушай, мне нужны адреса, телефоны этих ребят. Как их найти — может, что подскажешь?

— Я видел у Анны Тимофеевны папку, в которой она хранила все, что было связано с поисками тебя. Думаю, что в ней должны быть и адреса, и телефоны.

— А где сейчас эта папка?

— Наверное, там, в доме. Ключи от дома у меня.

— Сходим туда?

— Обязательно. Должен же ты побывать в своем родном доме.

— Должен, — с горечью усмехнулся Олег. — Только вот от чужих глаз придется прятаться, как вору.

— Ничего, — потянувшись через стол, сжал его руку Велешев, — придет день, когда войдешь в свой дом по-хозяйски, на виду у всех. А теперь, коль такое дело... сходим туда часика в три. Самое глухое время ночи — никто тебя не увидит. А если углядит кто-то свет в окнах и будет потом приставать ко мне с расспросами, скажу, что приехал дальний родственник, взял на память фотографию Анны Тимофеевны. Очень, мол, спешил. Соседи подтвердят — они видели этого дальнего родственника.

— Ладно, конспиратор. Наливай до краев. Выпьем за прапорщика Ковшова, за всех четверых, которые тогда прорвались.

— Хорошо, давай за них.

Спиртное почти не отражалось ни на облике, ни на поведении Малоярова, лишь взгляды его светлых, словно бы выцветших глаз сделались каким-то печально-пронзительным. И от такого взгляда, особенно, если Олег устремлял его куда-нибудь в одну точку, у Велешева щемило в душе. Собственно, и сам он, Велешев, не ощущал себя хмельным, наоборот — было состояние такой особой душевной сосредоточенности. Наверное, сербская ракия обладала способностью оказывать на организм столь мудрое воздействие.

Осушив рюмку одним глотком, Олег медленно жевал и, глядя в одну точку, похоже, о чем-то напряженно думал.

— Да... — вздохнул он. — Скорее всего, так оно и есть.

— Ты о чем?

— Ну сам посуди. Обмен этот моджахеды предложили, когда я пробыл в плену почти полгода. За это время отчет моего командования о том, что группа Малоярова попала в ловушку и почти вся погибла, а сам командир пропал без вести, давно уже прошел по инстанциям. Конечно, было разбирательство, кому-то за это нагорело, кому-то влетело, груз-200 был отправлен по своим адресам, моей матери сообщили обо мне то, что должны были сообщить. Ну и потихоньку улеглось, утихло все. Забываться уже стало. И вдруг оказывается, что Малояров жив. Мало того — неприятель желает отдать его в обмен на пленного моджахеда. Хм, представляю, как это могло тряхнуть кое-кого из моего командования...

— Тряхнуть в каком смысле? От радости?

— Да нет, по-моему, наоборот. Если вернется Малояров, то всплывет же все опять. Снова придется вспомнить о причинах неудачи группы. Ведь я вызвал “вертушки” — они должны были обеспечить нам надежное огневое прикрытие и снять нас. Мне ответили: “Держитесь, “вертушки” будут”. Но они не пришли. Пришли, наверное, только потом — забрать трупы. По какой причине вертолеты не прилетели вовремя, я не знаю. Но ведь были люди, от которых это зависело, которые отвечали за это, и уж они-то причину знали, а может, и сами явились причиной. В тот раз им, возможно, удалось оправдаться, как-нибудь отбояриться. Командира группы нет — можно заявить, что вертолеты он не вызывал. А вернется Малояров — такое уже не ляпнешь, и шум поднимется совсем другой. Это во-первых. А во-вторых... Думаю, вряд ли хотелось им отдавать того, на кого предлагали обменять меня.

— А ты разве знаешь, на кого хотели тебя обменять?

— Знаю. Тогда, после несостоявшегося обмена, дня три никто меня не трогал и даже кормить почему-то начали вполне прилично. А потом в халупу, где я сидел под охраной, заявляется вдруг сам Джуфар. И уговаривать начал — спокойно так, без всякого нажима. Дескать, не нужен ты, майор, твоим шурави — наверно, сильно виноватым они тебя считают. А ты становись воином аллаха — отомстишь им. Подумай о себе — неужели хочется лежать в ущелье с пулей в голове, где шакалы тебя по кускам растащат? Лучше быть братом правоверных, иметь хорошие деньги, на которые купишь все... А я его слушаю и чувствую, что жить-то мне на данный момент как раз и не хочется совсем. И абсолютно наплевать, какие твари будут меня потом на куски растаскивать. Выслушал до конца и говорю: “Спасибо, Джуфар, за предложение, но против своих я не пойду. Хотите — шкуру с меня сдирайте с живого, хотите — голову отрезайте, как барану, хотите стреляйте или вешайте, но со своими я воевать не буду”. Он с минуту смотрел на меня молча. Глядит — не шелохнется. И я на него смотрю, глаз не отвожу. Джуфар покачал головой, встал и с какой-то непонятной усмешкой похлопал меня по плечу. И когда он уходил, я чего-то совсем уж то ли осмелел, то ли ошалел от отчаяния. “Джуфар, — говорю, — напоследок скажи, пожалуйста: на кого меня хотели обменять”. Он переводчика выслушал, опять усмехнулся и, немного помолчав, ответил: “Хамид”. “Вот оно что... — думаю. — Ясное дело: в обмен на Малоярова, который всю группу положил, а сам оказался в плену, разве выпустят они Хамида?”

— А кто такой Хамид?

— Полевой командир, один из лучших. Ущерб нашим войскам его “духи” нанесли неисчислимую уйму. Накрыть Хамида все никак не удавалось, и он уже стал считаться неуловимым и неуязвимым. И вот, значит, все-таки защемили, взяли самого — уже после того, как я попал в плен. Ну, разумеешь? Только что взяли Хамида и отдать его в обмен на Малоярова, из-за которого опять могут начаться неприятности?... Вот и отказались. Хм, надо же... — мотнув головой, усмехнулся Олег. — Это в разговоре с тобой у меня вдруг все так четко выстроилось. А то ведь годами не верил самому себе. Сожмет, сдавит сердце и думаешь: “Да не может быть!” А теперь все ясно.

— Только вряд ли от этой ясности легче.

— Да знаешь ли... — улыбнулся Олег. — По-моему, намного легче. Ты первый человек на родной земле, который услышал обо всем этом. Подумай: разве я мог бы рассказать такое матери?

— Это понятно. Но что же все-таки с тобой дальше-то было?

— Дальше... Продали меня в рабство, в Пакистан.

— Как это — в рабство?

— Да обыкновенно. Разве не знаешь, что в мире все еще существует рабство?

— И... что же ты там делал?

— Неужели тебе надо еще объяснять, — усмехнулся Олег, — что делают рабы? Они делают самую грязную и тяжелую работу за самую плохую еду.

— И долго ты так?

— Около двух лет. А потом меня продали в Африку.

— Господи, Боже мой... А это еще с какой стати?

— Мой хозяин знал, что я русский офицер со специальной подготовкой и немалым боевым опытом. Ну и сторговался с африканцами. В Африке ведь постоянно где-нибудь идут боевые действия. Дерутся между собой разные группировки. Некоторые из этих группировок нуждаются в военных специалистах, особенно моего профиля. Короче, таким-то вот образом я оказался в африканской стране, в военном лагере, запрятанном в непролазных дебрях. Чем там занимался — наверно, не надо объяснять?

— Если можно, то в двух словах.

— Учил чернокожих всему, что необходимо для проведения боевых спецопераций, учил их проводить боевые спецоперации. А учить их, наверно, ничуть не легче, чем покорять Джомолунгму.

— Опять, значит, воевал?

— Да. Сколотив и оттренировав очередную группу, на первое боевое задание я вел ее сам.

— И как относились к тебе там?

— Уважали. Я сразу поставил себя жестко — дал понять, что кроме командующего их допотопной армией особенно-то считаться ни с кем не собираюсь. Следили, правда, за каждым моим шагом и поначалу не платили. Дескать, должен отработать ту сумму, за которую тебя выкупили. А потом стали платить, причем очень хорошие деньги. Я у них в такой авторитет вошел, что даже карьеру головокружительную сделал, — рассмеялся Олег. — Военным советником стал у главы всего этого клана. А он ведь метил ни больше и ни меньше как в президенты.

— Надо же... — покачал головой Велешев. — Из рабов да в фавориты.

— Да, так-то вот. А какая удивительная встреча у меня там однажды произошла...

— Давай повествуи.

— Об этом стоит рассказать. Короче, руководство нашего клана и та группировка, с которой мы воевали, решили заключить перемирие, и начались переговоры об условиях этого перемирия. Уселся я, значит, вместе с черными своими собратьями за стол переговоров в качестве военного советника, а на другой стороне, среди таких же черных наших врагов, вижу вдруг такого же белого, как я, причем с абсолютно рязанской физиономией. И тут же убеждаюсь, что физиономия эта принадлежит не кому-нибудь, а Ване Глухову, с которым в десантном училище вместе и в Афгане служили в одном полку. Чувствую, что Ванька тоже узнал меня, но виду не подает — сидит в своем темно-синем костюме с галстуком бабочкой, корчит из себя неприступного джентльмена. Я понял, что у тех он тоже военный советник, и прикрываюсь рукой — боюсь расхохотаться. Переговоры прошли успешно для обеих сторон, и по этому поводу был устроен этаким показухным фуршетик. Я уже успел разузнать, под каким именем пребывает тут дорогой мой Ванюша, и в самый разгар фуршета вроде бы совсем случайно оказываюсь рядом с ним. “Господин Крафт, — спрашиваю негромко по-английски, — давно ли прибыли из благословенной нашей Европы?” “Да нет, — отвечает сквозь зубы, — не очень давно”. “Мне, — говорю, — в последние годы обстоятельства не позволяли ступить на европейскую землю, поэтому очень скучаю по ней. Интересно, что там у нас нового, какие нынче пекут пироги?” “Да вы, — говорит, — наверно, давно уж отвыкли от наших пирогов — что это они вас так интересуют?” “Ошибаетесь, — хлопаю его по плечу. — Не из тех я, кто от родных пирогов отказывается”. И, заслонив рот бутербродом, шепчу ему по-русски: “Ванька, я в этой каше поневоле. Помогите, вытаскивайте меня отсюда”. Он церемонно глянул на свое плечо, по которому я его похлопал, потом этак медленно, по-джентльменски, повел взглядом вокруг и, отхлебнув из бокала вина, задержав бокал у рта, ответил шепотом: “Если я тебя вытащу, то ты не обрадуешься”. И сразу же отошел, заговорил с каким-то мулатом, словно тот был ему очень нужен. Я понял, что он боится засветиться, и больше уже не подходил к нему. “Ладно, — думаю, — Бог с тобой, зато теперь уж на все сто процентов ясно, что путь на Родину мне заказан”.

— И чем же закончилась эта твоя африканская эпопея?

— А тем, что драка у них прекратилась. Были объявлены всеобщие выборы, и победу уверенно одержала та самая группировка, которую обслуживал мой давний приятель Ваня Глухов. Я, уже успешший неплохо изучить нравы этого черного народа, сразу понял, что новоиспеченная власть поиграет немного в демократическую лояльность, а потом начнет отлавливать и потихоньку отстреливать своих недавних противников. Надо было, что называется, рвать оттуда когти. У меня к тому времени собралась весьма приличная сумма денег, а главное — удалось обзавестись вполне надежными документами.

— И куда же ты оттуда рванул?

— В другую часть света. Но выбраться из страны, где сложилась такая ситуация и кругом одни черные, а белых кот наплакал, да еще если учесть, что у недавних противников новой власти я был военным советником и успел здорово засветиться, — эта задача оказалась не из легких. Помогла мне моя подруга — испанка по происхождению, женщина с невероятно деятельным, веселым и авантюрным характером. Она занималась распродажей женской одежды, колесила по разным местам на своей машине-фургоне, и дела у нее шли вроде бы неплохо. Жить среди черных ей давно уже надоело, но хотелось подзаработать побольше денег, чтобы развернуться потом как следует где-либо на другом континенте. Некоторое время она прятала меня у себя, и, не желая подвергать ее опасности, я уже собрался уходить, как вдруг Валентина — да, такое вот русское было у нее имя — сделала мне предложение. Нет, — рассмеялся Малояров, — отнюдь не предложение стать моей женой. Она спросила, какими деньгами я располагаю, прикинула, какая примерно сумма приплюсуется к ее сбережениям от продажи всего, что у нее здесь имеется, и сказала, что всех этих сложенных вместе денег вполне хватит для того, чтобы открыть прибыльное дело в какой-либо приличной стране. И, немного подумав, объявила, что ехать надо в Колумбию — там удобней всего. Я не стал выяснять, почему в Колумбии удобней, чем, например, в Аргентине или Бразилии — мне было, в общем-то, все равно. Она, думаю, как-никак испанка, ей виднее. Ну и рванули в эту самую Колумбию.

— А из африканской-то страны как же сумели выбраться?

— Тут все прошло довольно гладко. Выехали на машине Валентины. Она спрятала меня в фургоне — завалила в переднем углу всякой всячиной. Когда пересекали границу, солдаты лишь заглянули в фургон, а шарить в нем не стали. Ну а потом я сидел уже рядом с Валентиной, временами подменял ее за рулем. Разных приключений возникало у нас в дороге немало, но потихоньку мы все-таки добрались своим ходом до западного побережья, и в Лагосе Валентина продала машину. У нее было неодолимое желание — проследовать через Атлантику на первоклассном океанском лайнере. Но такое удовольствие стоило немалых денег, и Валентина смирилась — в Боготу, столицу Колумбии, мы полетели на самолете.

— Да-а... — покачал головой Велешев. — География у тебя — будь здоров...

— География такая, что я уже устал рассказывать, — усмехнулся Олег. — А ведь все это пришлось прожить.

— Но ты уж поднапрягись, расскажи до конца.

— Да понимаю. Какой же я тебе брат, если буду казаться котом в мешке? Короче, в Боготе мы с Валентиной прожили вместе совсем недолго. Через несколько дней она сказала, что нашла очень хороший банк, куда необходимо поместить пока наши капиталы, оставив себе только на прожитие. Поскольку я в таких делах, как говорится, абсолютно “ни бум-бум”, то полностью положился на нее. В общем, ушла она помещать наши деньги в этот самый банк и не вернулась. “Хорошо, хоть сколько-то оставила на прожитие”, — подумал я и принялся искать работу. Испанского языка не знаю — везде смотрят настроенно. Работа подпадала, но тяжелая и грошавая — почти такая же, как в рабстве. Предлагали мне рискованные криминальные дела с хорошим заработком, но от этого я отказывался. Думаю, не хватало еще в колумбийскую тюрьму угодить. Чувствую, что постепенно опускаюсь

все ниже ко дну, и однажды решил: надо искать себе дело по профессии. То есть надо искать войну.

— Да как же найдешь войну там, где ее нет?

— Хм... — усмехнулся Малояров. — При желании войну нынче можно найти где угодно. Она идет почти везде, только в разных вариантах.

— И ты нашел ее?

— Нашел.

— Каким же все-таки образом-то?

— Хочешь — смейся, хочешь — нет, но помогла женщина — моя новая подруга.

— Смеяться не буду, а удивиться, пожалуй, есть чему.

— Не удивляйся. В чужой стране, когда ты жутко одинок, единственное спасение — это женщина. Конечно, не первая попавшаяся, а та, которая обладает душевным теплом, пусть даже непостоянным. Короче, Рената знала все мои трудности, и я не видел смысла в том, чтобы скрывать от нее, кто я такой и что со мной было в жизни. Она познакомила меня со своим братом и попросила, чтобы я рассказал ему о себе все. При первом же взгляде на Марко — так его звали — я почувствовал, что он не лыком шит — очень крепко сбит и, судя по всему, хорошо тренирован. Марко внимательно выслушал меня, достал из кармана нож, выщелкнув из рукоятки лезвие, взял его за кончик и протянул мне: “Покажи”. Я сидел боком к двери, метрах в пяти от нее. И, не поднимаясь со стула, почти не глядя, коротким броском всадил нож в косяк. Марко встал, спокойно подошел к двери, аккуратно выдернул нож из косяка, и, сложив его, сунув в карман, сказал: “Дня через два я найду тебя”. “Если дело нечистое, — предупредил я, — то лучше не ищи”. “Дело тебе подойдет”, — ответил он. И, попрощавшись, ушел...

Олег вздохнул, взял с тарелки маслину и стал жевать, уставившись в одну точку тоскливым светлым взглядом, от которого у Велешева щемило в душе.

— Ну и что же это было за дело? — спросил Велешев. — Подошло оно тебе?

— Подошло. Марко был командиром группы спецназа, которая работала автономно, в режиме строгой секретности, и самые сложные рискованные задания выполняла по отдельным контрактам. Людей в группу Марко подбирал сам. Один из бойцов погиб в недавней операции, потому Марко и взял меня. В столице группа не светила, работала чаще всего в отдаленных районах страны. Основная направленность операций была против наркомафии — с ней в Колумбии велась самая настоящая война. Но иной раз мы выполняли задания разведывательного, ликвидационного или диверсионного характера отнюдь не на колумбийской территории. В таких случаях о заказчиках Марко не говорил ни слова, и мы считали, что лучше не спрашивать об этом. За такие операции очень хорошо платили. Не считая командира, группа состояла из семи человек плюс два отлично оснащенных вооружением вертолета. Вертолетчики были не просто асами — они были самыми настоящими виртуозами. У группы имелась своя база в красивом местечке, на приличном расстоянии от Боготы. Она хорошо охранялась, и здесь у нас было все необходимое, включая комнаты для отдыха с максимальными удобствами.

— Интересно, как же приняли тебя в новой боевой семье?

— вполне нормально. В группе были не одни колумбийцы. Был немец — выходец, правда, из Бразилии, был серб, который не так давно принимал участие в зверских боях у себя в Восточной Славонии, а сюда его занесло в поисках хорошего заработка. Да вот еще и русский добавился — то бишь я. Проверили меня по всем параметрам, довольно жесткая была проверка, но прошел я ее спокойно, потому что наши отечественные параметры куда как покруче. Ребята потом даже учились у меня кое-чему. Спайка у нас была очень крепкая. Так-то вот, значит, и работали...

— Замучил я тебя своими расспросами... — скованно улыбнулся Велешев. — Думаешь небось? прилип, как банный лист.

— Нет, я так не думаю. Что касается тебя, то на данный момент мне вполне достаточно того, что написала о тебе мама в своем письме, и того, что

я успел узнать о твоей персоне от людей, которые адресовали меня сюда. Ну и своими глазами... все-таки умею кое-что видеть. А для меня очень важно, чтобы ты обо мне узнал хотя бы главное. Понимаешь, Паша... Для меня это... ну... считай, что крайне необходимая исповедь. К матери я опоздал, и если бы не встретил тебя, не распахнул вот так душу ни перед кем на родной земле, то... Представь, каково было бы мне возвращаться, какая боль...

— Я понимаю. Просто опасаясь, что ты и без того уже перегрузил себе сердце и нервы.

— Э-э, брат, нашел чего опасаться. Я давно привык жить с перегрузками. А сейчас, может, наоборот — разгружаюсь. Это благодаря матери. Мама ты моя, мама... Умирала, а успела позаботиться о том, чтобы мне было перед кем облегчить душу. И не откройся я тебе сейчас — не получится у нас того, что она хотела. Разойдемся как шапочные знакомые, да и только.

— Да, наверное, так. Ну и каким же был финал твоей колумбийской истории? Предчувствую, что после нее началась другая.

— Правильно предчувствуешь. В раскромсанной Югославии, в Боснии, развязалась жестокая междоусобная война. Я тебе уже говорил, что в нашей группе был серб. Звали его Милан Ивкович, и когда пошла информация об этой войне, он совсем перестал спать и ходил хмурый, не разговаривал ни с кем. Милан родился в Боснии. А через некоторое время ему сообщили отсюда, что мусульманские боевики вырезали в селе всю его семью. Погибли отец и мать, младшие брат и сестра. Когда Ивкович получил это известие, наша группа в полном составе была на базе — мы отдыхали после выполнения тяжелого задания. И собрались все у него в комнате. Выпили — помянули родных Ивковича и сидели молча, не зная, чем его утешить. Милан вдруг выпрямился, припечатал к столу ладонь и сказал тихо: “Командир, мне надо туда”. Марко долго молчал, глядя себе под ноги, потом поднял голову и ответил: “Конечно, на твоём месте и я поступил бы так же. Но тебе придется работать с нами, пока я не найду замену”. “Хорошо, — кивнул серб. — Только ищи сразу двоих”. “Почему?” — удивился Марко. “Алек поедет со мной, — глянул на меня Ивкович. — Так ведь, Алек?” “Так”, — ответил я без малейшего колебания. Марко лишь сокрушенно покачал головой. Мы с Миланом дождались замены, за полтора месяца подогнали новичков под жесткие нормы нашей группы, и друзья устроили нам теплую прощальную вечеринку. А Марко и мне, и Милану сделал невероятный подарок — вручил такие документы, с которыми хоть на край света. “Мало ли как у вас сложится, — сказал он. — Если что — возвращайтесь”.

— А как же с Ренатой? — спросил Велешев. — Извини, может, я касаюсь слишком личного, но... как у тебя сложилось с ней?

— С Ренатой... — усмехнулся Малоюров. — Да очень просто все сложилось. Через полгода после того, как я начал работать в команде Марко, она вышла замуж за богатого человека.

— Почему?

— Ну, во-первых, из-за моей работы мы стали редко видеться, а во-вторых... Марко однажды сказал мне: дескать, не пудрил бы Ренате попусту мозги — ты ей не пара. Тебя в любое время могут убить, а мне хочется, чтобы у моей сестры была крепкая, надежная семья. Я поначалу обиделся на него, а потом понял, что Марко абсолютно прав, что он и сам-то не женится именно из-за этого. И в дальнейшем я в какой-то мере даже благодарен был ему за науку — дружил лишь с теми женщинами, которые в связи со мной не строили никаких планов на будущее.

— Я тебя отвлек. Извини.

— Да что ты все извиняешься? Задал вполне закономерный вопрос. Ну, а что касается Боснии, то перебрались мы, значит, туда...

— Благополучно перебрались?

— Не совсем, встречались сложности. Если быть совсем точным, то не перебрались, а пробрались. Но об этом вряд ли стоит. Да честно говоря, и о войне этой рассказывать не очень-то хочется.

— Нам тут сообщали кое-что, — сказал Велешев. — Жестокая, похоже, была война.



— Очень жестокая... — сосредоточенно кивал головой Олег. — До этого мне всякое приходилось видеть, но таких зверств, такого изуверства, дикого отчуждения друг от друга близких, а иногда и родных людей, я не видел нигде. И это ведь в середине Европы.

— И отчего же, по-твоему, так произошло?

— От заражения.

— От заражения чем?

— Вирусом свободы, которую очень многие понимают как раскрепощение греха. И превращают ее в свободу зла, бесчестия и предательства. Если в сердцах людей есть Бог, то в обществе царит мир, потому что люди сопротивляются своим страстям. А если в сердцах нет Бога, то мир кончается — люди служат уже не Ему, а именно своим страстям.

— Но ведь Балканы... Бывшая Византия — там вроде бы люди-то боголюбивые...

— Там разная вера. И потому очень хорошая почва для разжигания розни. Эту почву сначала щедро обработали вирусом греховной, подлой свободы, а потом... Потом все очень просто. Тем, кто разносит по всему свету под видом добра эту заразу, что им стоит среди людей, зараженных вседозволенностью, корыстью и тщеславием, накупить таких, которые перемутят в своем отечестве все, перессорят верующих разных конфессий и развяжут дикую вражду, в результате которой народ станет уничтожать сам себя. А разносчики заразы будут стоять в сторонке и поглядывать с ухмылкой, как быстро расчищается для них место.

— Хм... Нечто подобное наблюдается и в других краях. И против кого же ты там воевал?

— Я воевал за православных сербов, которым, кроме нас, добровольцев, мало кто помогал.

— Да, нам тут понятно было, что другой воюющей стороне помогают весьма обильно. И кто же там все-таки победил?

— Мы победили. Но у нас отняли победу.

— А что с Миланом? Вы вместе воевали?

— Да, всегда были вместе... — вздохнул Олег. — Милан погиб. А я остался в живых благодаря ему. И живу на земле, которую мы защищали, — в маленьком сербском государстве. Там у меня дом, там у меня семья. Жена — сербка, зовут ее Веста. Совсем еще молодая — я старше на двадцать лет. Мы очень любим друг друга. Был такой случай — я спас ее. А потом вместе прошли всю эту войну. Сыну скоро десять, назвали его Миланом. Живем не бедно — у нас с Вестой небольшое, но довольно прибыльное дело. И вот... — Олег достал из внутреннего кармана паспорт, раскрыл его и положил перед Велешевым, — такое у меня нынче сербское имя. Надеюсь, разберешь.

“Митич Олеко”, — прочитал Велешев.

— Ну что ж, брат мой Митич, — улыбнулся он. — Наверно, пора нам с тобой двигаться к твоему родительскому дому.

## Глава тридцатая

Машину Олег по совету Велешева загнал во двор, и они шли по ночному селу, с наслаждением вдыхая чистый подмороженный воздух.

— Я когда постучал к Стежковым, к нашим с мамой соседям, — негромко заговорил Олег, — то во двор ко мне вышла женщина среднего возраста. Пытался узнать ее, но так и не понял, кем же она доводится Стежковым.

— Никем. Там живут совсем другие люди. Старики Стежковы умерли, а дети в городах сочли родительский дом ненужным и продали его.

— Между прочим, пока я разговаривал с этой женщиной, успел узнать кое-что о тебе.

— Что же именно? — усмехнулся Велешев.

— Ты, оказывается, доктор наук.

— Да к тому же еще и профессор, — в голосе Велешева чувствовался

сарказм. — Студентов, понимаешь ли, обучал в медуниверситете. Ну и, разумеется, почетный, заслуженный. Только все это в прошлом.

— Почему?

— Потому что теперь я просто сельский врач. Правда, в то же время и начальник — заведую участковой больницей.

— Хм... — усмехнулся Малояров. — Такая метаморфоза возможна, пожалуй, лишь в том случае, когда человек стремительно спивается. Ты на горького пьяницу отнюдь не похож. Так в чем же дело?

— Дело в том... — Велешев немного помедлил. — Тут, знаешь ли... Как тебе нелегко было излагать свою историю с пленом, точно так же и мне тяжело говорить об этом.

— Но я ведь свою историю все-таки изложил.

— Не беспокойся, изложу и я свою. Дело в том, брат, что был я очень хорошим, знаменитым кардиохирургом, провел множество сложных операций на человеческих сердцах... А моя мать умерла здесь, в Поречье, от длительной болезни сердца, о которой я попросту ничего не знал. После этого я уже не смог больше заниматься кардиохирургией и переехал из областной клиники сюда.

— Вон оно что... Теперь понятно...

— Это еще не все. Когда я переехал сюда, то через некоторое время от болезни сердца, о которой я тоже ничего не знал, умерла здесь моя жена. А теперь вот Анна Тимофеевна... О ее болезни я знал, боролся с этой болезнью, но все-таки проворонил. Такая вот моя история.

Малояров положил руку Велешеву на плечо и остановил его, развернул лицом к себе.

— Знаешь, Паша... Я хочу сказать... Да, мамы больше нет — от этого дикая боль в душе, жуткое ощущение вины. Но в то же время... стою вот сейчас рядом с тобой и чувствую всем своим нутром, что ты мне родной, что ты настоящий брат. Это ведь Божье дело. Без Бога такого не бывает.

— Да, — кивнул Велешев. — Еще когда ты рассказывал о себе, у меня мелькнула мысль, что наша встреча — это Божье дело. И совершилось оно через Анну Тимофеевну.

...В родном доме Олег, остановившись посреди кухни, с напряженным вздохом обозрел все вокруг. Потом прошел в переднюю комнату и так же длительно присмотрелся ко всему здесь.

— Почти ничего не изменилось... — хриплым шепотом произнес он. — Почти ничего, кроме самого главного...

Постояв с минуту в спальне у материнской кровати, Олег вышел оттуда, тяжело опустился на диван и, склонив голову, закрыл лицо ладонями.

Велешев молча стоял у притолоки. От жалости у него перехватило горло.

— Ну что ж... — словно очнувшись вдруг, резко поднялся с дивана Олег. — Время не ждет.

Он снял со стены портреты матери, отца и свой, на которых и родители, и сам он были совсем молодыми, потом выдвинул ящик материнского комода и, покопавшись в нем, достал ее старинный цветастый полшалак, прижал его к груди.

— Хоть что-то с собой на память... — глянул Олег на Велешева виноватым каким-то взглядом.

И у того опять спазмой сжало горло — пришлось даже стиснуть зубы.

— А где может быть та папка, о которой ты говорил? — спросил Олег.

— Посмотри в письменном столе. Кажется, оттуда она ее вынимала.

Малояров выдвинул верхний ящик старого, истертого письменного стола и сразу же обнаружил папку. “Поиски Олега” — крупными буквами было выведено на ее крышке. Он развязал тесемки и, раскрыв папку, взял в руки толстую тетрадь, лежавшую сверху. В ней оказались и адреса, и телефоны тех, с кем общалась Анна Тимофеевна, разыскивая сына.

Обратно шли вдоль реки молча, и Олег остановился вдруг:

— Слушай, давай спустимся вниз. Посидим хоть немного у воды на какой-нибудь лодке.

— Да свежееват сейчас у воды-то.

— Ничего, в самый раз.

Они спустились по тропинке на песчаную косу, и лодка словно бы ждала их тут — почти целиком выгашенная на песок и сухая внутри. Она была железной и предательски загримелась, когда мужчины входили в нее.

— С такой лодки плохо ловить рыбу, — садясь на скамейку, сказал Олег. — Греметь будет от каждого движения — все живое в воде распугает.

— Деревянные лодки некому стало делать, — ответил Велешев. — Все мастера умерли. Другие теперь спецы пошли — варят из листового железа. Как будто невдомек им, что хлебнет как следует эта лодка — и пойдет ко дну.

Ночь была лунная, безветренная, звезды отражались на гладкой поверхности воды. От реки веяло острой прохладой, и слышен был тихий голос течения.

— Сколько же раз она мне снилась — наша река... — вздохнул Малояров. — Не дай Бог никому такого несчастья. Человек, оторванный от родины, страшно неполноценен. Он чувствует себя, словно птица, отлетевшая от своего гнезда, в котором птенцы.

— Как же тебе удавалось пересиливать все это?

— Я жил, привыкнув к своему душевному несчастью. Понял, что не надо бояться страдать. Страдание становится не таким уж и тяжелым, если поймешь, что большая часть его состоит из твоего страха перед ним.

— А женщины... Они как-то помогали твоей душе?

— Очень помогали. Что ни говори, а женщины все-таки великие существа. От приступов жуткой тоски по родине, по матери я спасался возле них.

— Но, насколько я понял... — с заминкой произнес Велешев, — они же и предавали тебя не раз.

— Что ж с этим поделаешь? — усмехнулся Малояров. — Вероятно, почти у каждой женщины живет в душе неведомый ей самой микроб предательства.

— У каждой — ты сказал?

— Я сказал: почти у каждой. Есть и такие, которые не предают. А те, что предают... Я думаю, вряд ли стоит обращать на это какое-то особое внимание.

— Да как же так? Предательство — разве это шутка?

— Не шутка, конечно, но, знаешь ли... Я и к этому научился относиться как-то... самоспасительно, что ли.

— Хм... Интересно, что же за самоспасение такое удалось тебе изобрести.

— Да очень просто. Помнишь, я рассказывал, как Валентина, испанка, сначала спасла меня, рискуя собой, а потом в Колумбии взяла да и облапошила?

— О таком знаменательном событии вряд ли можно забыть.

— Так вот с того раза и стало во мне вырабатываться самое что ни на есть спокойное, можно даже сказать, лояльное отношение к женскому предательству. Сначала, конечно, резануло по сердцу, а потом я подумал: "Но ведь она же спасла тебя, ведь благодаря ей ты жив и свободен. С чем это может сравниться, с какими деньгами?" И тут же решил, что, умыкнув у меня деньги, она дала мне хороший урок, за который тоже благодарить надо. И надо ее пожалеть — с такими загибами легко может нарваться на какую-нибудь большую неприятность, погубить себя. Между прочим, так оно и вышло. Я потом совершенно случайно встретил Валентину в одном захудалом городке у колумбийской границы, где она была владелицей ночного бара. И мне пришлось выручать ее из ситуации, которая грозила ей если не смертью, то уж наверняка полным разорением. За это я был удостоен огромного комплимента — Валентина сказала, что я самый лучший мужчина в этом проклятом мире.

— Ну а после Валентины?

— А дальше я как-то незаметно заимел твердую привычку не обижаться на женское предательство, не судить женщин, которые отрекались от меня, не говорить о них ни единого плохого слова.

— Вот даже как!

— Именно так. Ну, отреклась от меня женщина, ушла к другому. Но ведь она же спала со мной, мы ели за одним столом, жили как родные люди. Мне хорошо было с ней, и за это я должен быть ей только благодарен. И если она отреклась, то не лучше ли поискать вину сначала в самом себе? Сколько раз я убеждался, что сам виноват — не мог дать женщине всего того, что требовалось ей для нормальной жизни...

— Мне кажется, ты говоришь о таких отношениях, когда есть определенная тяга, симпатия друг к другу, но нет настоящей взаимной любви.

— А когда настоящая взаимная любовь, и женщина отрекается от тебя, доходя до предательства, то и в таком случае вряд ли стоит судить ее. Это ведь не твоя, а ее беда — если она не смогла дотянуться до того уровня, на котором ты строишь свои взаимоотношения с жизнью и на котором нет места предательству.

— Значит, и такое было, когда любили тебя и отрекались, не желая тянуться до этого твоего уровня?

— Бывало и такое, Паша.

— А твоя жена... Извини, может, я слишком уж вторгаюсь в личное... Она, надо думать, соответствует этому уровню?

— Не извиняйся. Я уже говорил, что мы с Вестой очень любим друг друга. Я ей и отец, и брат, и муж, и... и любовник тоже, чего уж тут. А она как раз из тех, которые не предают. К тому же наши отношения... Может, это и слишком громко прозвучит, но... наши отношения прошли испытания огнем и кровью.

— Это счастье, — положил Велешев руку Олегу на плечо. — Судя по всему, ты его выстрадал.

— Да, наверно, это так. А ты... как я понял, живешь один?

— Живу один.

— Давно?

— Да вот уж четыре с половиной года. Но в последнее время... вроде бы и не один. Есть женщина...

— А что же ты об этом так вяло?

— Да видишь ли... Тут совсем не то, что у вас с Вестой.

— Ну, может, поведаешь, кто она да что, да где пребывает в настоящее время.

— Живет в нашем губернском городе. А познакомились мы здесь. Летом я Анну Тимофеевну подлечивал, и Валера лежала в одной палате с ней.

— Валера?

— Ну да, Валерия.

— Она что — больная?

— Да нет, просто упала с дерева, с довольно большой высоты, и травмировалась.

— Она что — совсем девчонка?

— Да нет. Наверное, гораздо старше твоей Весты.

— А чем занимается?

— Рекламой.

— Ага, значит, из тех, которые любят прыжки вверх и с сучка на сучок...

— Что ты имеешь в виду?

— Имею в виду то, что скорее всего это привлекательная женщина с легкой непредсказуемостью. Вроде незабвенной моей испанки Валентины.

— Ну уж деньги-то у меня она, конечно, не умыкнет... Стоп. А как ты догадался, что она привлекательная и непредсказуемая?

— Очень просто. По твоим словам и по твоей освещенной лунным светом кислой физиономии.

— Да ты прямо-таки провидец, — усмехнулся Велешев. — Валера и в самом деле большая любительница крутых зигзагов. Особенно последний ее фортель. Это уж... вообще ничего не пойму.

— Что же такое, если не секрет?

— Нет тут никакого секрета, но говорить об этом стыдно. Когда они с Анной Тимофеевной лечились вместе, то очень сдружились. Валера полюби-

ла Анну Тимофеевну, и та воспринимала ее как дочь, учила полегоньку уму-разуму. Словом, без всяких натяжек — родные люди. И вот вдруг огорошила: не могу приехать на похороны.

— Может, какая-то важная причина?

— Да ведь перед тем, как я получил в дороге сообщение, что Анне Тимофеевне худо, мы провели с Валерой вместе почти три дня. И у нее абсолютно все было в порядке. Утром я с ней простился, а вечером звоню — сообщаю, какая случилась беда, когда будут похороны, и в ответ слышу только одно: не могу.

— Но за день-то вдруг да и у нее что-либо стряслось. К примеру, тоже умер кто-нибудь близкий.

— Она не назвала ни единой причины. Лишь твердила каким-то истеричным тоном: не могу, как ты не понимаешь, я приеду, но не сейчас... Будто кто-то там приставил ей к затылку пистолет. Мне ничего больше не оставалось, как положить трубку.

— И с того раза не звонил ей?

— Нет. И она не звонит.

— Ну, ей теперь неудобно, стыдно. Она ждет, когда ты позвонишь.

— Мне было не до того. Да и честно говоря...

— Не хочешь?

— Не хочу. После такого о чем говорить?

— Да ты что-то уж слишком круто, — усмехнулся Олег. — А вдруг у нее какое-нибудь сильное кровотечение открылось? И с душой ведь бывает такое, когда кажется, что она сильно кровоточит. Нет, брат, причина-то у твоей Валеры, похоже, все-таки имеется. И скорее всего такая, которая требует твоего понимания. А, впрочем-то, пожалуй, и не звони — так лучше. Она непременно приедет.

— Да вы что — сговорились, что ли?

— Кто это — мы?

— У меня друг есть — Фадеич. Он невропатолог, и тоже лечил Анну Тимофеевну, очень уважал ее. И Валерию лечил — на дружеской ноге с ней. Так вот — Фадеич несколько дней назад выдал насчет Валерии почти точно такой же прогноз, как ты сейчас.

— Значит, умный человек.

— А я, выходит, дурак, что ли?

— Конечно, — утешительно похлопал его по плечу Малояров. — Ведь мы, мужики, когда влюбимся, то поначалу все дураки.

Вернувшись в велешевский дом, они быстро убрали со стола, перемыли посуду и уселись теперь уже на кухне. Велешев пил чай, а Олег — кофе, который привез с собой и сварил сам. Было уже около шести утра.

— Мне к восьми в больницу, — сказал Велешев. — А у тебя какие планы?

— Когда начнет светать, давай наведаемся к маме на могилу. А потом поеду — чего же еще мне здесь маячить?

— Нет, давай-ка уж лучше по моему плану. Съездим на кладбище, а когда вернемся, ты ляжешь спать. А я в больнице сделаю все самое необходимое и приду пораньше. Выспишься перед дорогой как следует, и провожу тебя по-человечески.

— Что ж... Выспаться, пожалуй, не помешает.

— Ворота закрою на замок — никто тебя тут не потревожит.

На кладбище они приехали, когда только-только начало светать. Оно располагалось на высоком месте за селом, и отсюда хорошо было видно, как быстро разрастается за рекой багровое, с золотым отливом, холодное полотнище зари. Заморозок был в самой силе — на пожухлой траве, на ветвях деревьев и кустов, на кладбищенских оградках лежал пушистый иней.

Вошли в оградку, где был укрытый венками свежий могильный холмик, и несколько мгновений молчали, словно окаменев.

— Прости, мама, — тихо сказал Олег. — Прости, что опоздал. Честное слово, я никак не мог раньше...

И рухнул вдруг на колени, зарыдал, не стесняясь, часто вытирая слезы рукавом. Велешев, уткнув подбородок в воротник пальто и стиснув зубы, молча стоял рядом. Потом Олег медленно поднялся с колен и, прерывисто вздохнув, положил руку Велешеву на плечо.

— Ну вот... — произнес он хрипло. — Мы пришли вместе, как ты хотела.

Памятничек с керамической фотографией Олега отца стоял в углу оградки — его отодвинули, когда хоронили Анну Тимофеевну.

— На двоих-то теперь, — кивнул на него Олег, — другой какой-нибудь надо.

— Я тоже прикидывал, — сказал Велешев. — Надо без всякой вычурности, с трогательной простотой. Я там фотографию с комода взял, на которой они вместе.

— Именно эта и подойдет.

— К лету земля усадку даст, и можно будет поставить.

— Если я не смогу приехать, ты уж постарайся тут, ладно?

— Этого мог бы и не говорить.

Олег достал чистый носовой платок, который попросил у Велешева перед выездом на кладбище, отодвинув один из венков, наскреб с могильного холмика мерзлой земли и, насыпав ее в платок, завязал, сунул во внутренний карман куртки. Потом они пробрались к могилам родителей Велешева, несколько минут молча постояли там.

Когда вышли с кладбища и сели в машину, Олег со вздохом положил руки на руль и, не включая двигатель, о чем-то задумался, сосредоточенно глядя сквозь ветровое стекло. Велешев тоже молчал некоторое время, а потом вдруг спросил:

— А что будет, если ты, к примеру, явишься в те самые конторы, которых опасаться, и так же, как мне, расскажешь о себе все?

Олег быстро глянул на него и покачал головой:

— Чудак ты, Паша. Уже один только отказ от меня из-за нежелания отдавать “духам” Хамида означает, что я был полностью списан со счетов. И вдруг этот списанный со счетов возникает в богатой, но захудалой африканской стране. Ведь мой однокурсник и приятель Ваня Глухов наверняка пахал в этой стране на нашу военную разведку и, встретив меня там в качестве военного советника враждебной группировки, думаешь, поверил, что я оказался таковым поневоле? Наверняка решил, что я продался каким-нибудь англичанам или янки, и потом аккуратно доложил об этом по начальству. Ну? Понимаешь, какая цепочка относительно меня выстраивается в этих конторах? Ладно, предположим, что Глухов поверил мне — мы ведь все-таки были друзьями, и он хорошо знал мой характер. Но тогда одно из двух: он либо по-дружески предупредил, что в родной стране мне лучше не показываться, поскольку ничего хорошего меня там не ждет, либо не захотел связываться со мной, осложняя себе жизнь. Если не хотел осложнять себе жизнь, то, значит, и подстраховался — доложил обо мне по начальству так, как ему было выгодней. Это ты понимаешь?

— Понимаю, но, может...

— Ага, можно добавить им еще, что я был бойцом-наемником секретной спецслужбы в Колумбии, а потом воевал в Боснии. Тогда уж у них обрывается такая цепочка, что если станут добросовестно проверять все ее звенья, то долгойко мне придется ждать окончательного результата где-нибудь в Лефортове. Это если добросовестно. А могут, упаси Боже, цепочкой-то шею захлестнуть и душить “предательскую гадину” “до полного разоблачения”. Ведь у вас тут огромные накопления подобного опыта. Отец мой прошел через это, не хватало мне еще... И представь: если бы я вернулся сюда, а меня упрятали в Лефортове на неопределенный срок для выяснения, то каким новым ударом это было бы для матери... А Веста с Миланом?..

— Но ведь ты попал в плен вон сколько лет назад — еще при советской власти. С той поры все изменилось. Люди, которые с тобой так обошлись, теперь в отставке, а иные, может, и на том свете. Пришли другие, и взгляды у них уже не прежние...

— Это так. Только вот прежние отчеты и донесения остались на своих местах.

— Ну почему ты не можешь допустить, что нынешние “конторщики” могут отгнестись к тебе с полной лояльностью, с пониманием?

— Твое “допустить” означает “авось”. Я уже объяснял, что встречаться с ними “на авось” мне нельзя. Матери больше нет, но есть Веста с Миланом. А тебе разве приятно будет, если меня загребут и начнут потихоньку жевать?

— Но должен же быть какой-то нормальный выход.

— Будет выход, только надо его как следует подготовить. И я тебе говорил, что это уже делается. Четверо моих ребят живы — теперь легче пойдет.

— Как же ты терпел столько времени — неужели не было ни малейшей возможности дать знать матери, что ты жив?

— Не единожды порывался, но останавливал себя тем, что могу лишь испортить все, обречь ее на новые страдания. И не только ее, но и жену с сыном. А в этот раз... В этот раз так заныло, заскулило и завопило сердце, что я не выдержал и поехал.

...Во второй половине дня, когда Велешев пришел с работы, Олег все еще спал. А может, просто лежал с закрытыми глазами и думал, отрешившись от всего белого света. Лежал он на спине, а под мышкой у него, положив голову на предплечье, устроился кот Федор. Этот-то уж явно спал, причем очень сладко. Заслышав шаги Велешева, Олег поднялся, стараясь не потревожить кота, глянул на часы.

— Что ж, надо собираться.

— Поспал бы еще. Дорога дальняя.

— Нет, брат, пора. Я-то храпанул прилично, а вот ты совсем не спал.

— Я дома. Лягу пораньше да и отосплюсь. Слушай, мне на больничной кухне литровую банку щей навязали. Давай обедать.

— А вот это не помешает.

Они с удовольствием пообедали, и Малояров стал собираться. Он быстро побросал в сумку свои вещи, уложил в нее все, что взял из родительского дома, потом покопался во внутреннем кармане сумки и достал оттуда, положил на стол какой-то сверток.

— Это тебе, — буркнул Олег непререкаемым тоном. — Пригодятся.

Велешев с удивлением развернул пакет и обнаружил в нем две пачки долларов.

— С какой стати? — отодвигая деньги, округлил он глаза. — Не надо. Я не бедствую. Это ни в какие ворота...

— Спокойно, Паша, спокойно, — выставив свою широченную ладонь, перебил его Малояров. — Тут не так уж и много — всего двадцать тысяч. Матери вез, чтоб хоть какое-то время не нуждалась ни в чем. А теперь ты возмешь — употреби их на наши общие нужды.

— Какие нужды? У меня есть, я обойдусь.

— Ну, во-первых, на памятник должен я внести свою лепту... А во-вторых, выйди во двор, посмотри, в каком состоянии у тебя там постройки. Вот-вот рухнет ведь все да еще, чего доброго, погребет под своими руинами уважаемого доктора наук. И дом-то, по-моему, явно требует ремонта.

— Это... просто руки не доходят.

— И не надо, чтобы они доходили. У тебя своих профессиональных дел невпроворот. Тут просто нужно нанять людей, которые уберут эту гниль, привезут материалы и сделают все необходимое. В стране творится Бог знает что, а он еще и вокруг себя терпит такую ужасную разруху.

— Да я...

— И за моим родительским домом присмотри. Пусть те самые люди, которых ты наймешь, и там глянут — подлатают как следует, где нужно.

— Ну... ты...

— Все! — схватил его за рукав Олег. — Пошли, посидим на прощанье во дворе, и я поехал.

Они вышли, сели на скамейку и некоторое время молчали, приглядываясь ко всему вокруг. Солнце клонилось к западу. За день оно согрело все су-

щее, а деревья словно бы пропитало какой-то отрешенной благостью. На них еще сохранились пожелтевшие листья, и время от времени с ветвей срывались листок и медленными зигзагами одиноко опускался на землю.

— Плохо, если день уходит в вечность пустым... — вздохнул Олег. — Жалко отпускать его. Я теперь все чаще думаю, что ни в коем случае нельзя довольствоваться автоматическим движением жизни.

— Нельзя, — подтвердил Велешев. — Жизнь имеет смысл лишь тогда, когда в каждом дне обретаешь какую-либо ценность.

— Да. И в таком возрасте, как наш, оказывается вдруг, что их, этих удивительных ценностей, в жизни великое множество.

— Главное — научиться отражать все темное, что пытается ворваться в твое сердце.

— Это ты здорово сказал, — кивнул Олег. — И это в самом деле главное. Хоть и много на земле темных дел, а сердце надо держать в области света.

— Тебе крепко досталось, — положил руку ему на плечо Велешев. — Для созерцания мировой подлости и испытания ее на собственной шкуре — это какое же нужно мужество...

— Ничего. Мы мужики. Должны принимать все близко к сердцу, но не должны сокрушаться. И ты не сокрушайся. Это уже перехожу на твое личное — извини. Я ведь все-таки года на три старше, то есть старший брат. Значит, имею право советовать, а то и наставлять. Без навязывания, конечно. Не сокрушайся ты по поводу своей Валерии, смотри на нее проще.

— Проще — это как?

— Хм... Попробую объяснить. Только не обижайся.

— Не бойся, не обижусь. Мне интересно, что ты об этом думаешь.

— Может, я ошибаюсь, но, судя по всему, твоя Валерия относится к той категории женщин, которые удивляют, обескураживают на каждом шагу. Если к тому же еще наличествует и внешняя привлекательность, то такие женщины интересны, таких всегда сильно любят. Но любить их очень тяжело. И тебе тяжело — я вижу. А ты попробуй не быть с ней упертым. Извини за это слово, но, по-моему, в России сейчас повсеместно так выражаются.

— Что ты имеешь в виду?

— Да взять хоть ваш теперешний кризис. Давно бы уж позвонил ей и спросил заботливо-тревожным тоном, что там у нее стряслось.

— Но помилуй... В этой ситуации... Когда человек демонстрирует столь странное отношение к столь важным вещам...

— Возможно, некоторые вещи она видит не такими, какие они есть, а такими, какими они видятся только ей. Может быть, ты видишь ее не такой, какой она видит себя. Наверное, надо спокойно и мудро в этом разобраться. Мне хочется, чтобы у тебя сложилось. Терпеть разочарование в нашем возрасте очень тяжело. Начинать все заново — еще тяжелей. Любовь может больше уже и не прийти.

Малояров умолк, и Велешев сидел, некоторое время не произнося ни слова.

— Может быть, ты и прав... — вздохнул он. — Во всяком случае над этим стоит подумать.

— Подумай. А теперь, — Малояров вытащил из внутреннего кармана записную книжку и ручку, — диктуй мне свои телефоны — домашний и рабочий. До меня вдруг дошло, что звонить-то я могу тебе сюда совершенно спокойно. Я гражданин балканского государства, был здесь по своим делам, и мы с тобой встретились, подружились.

— Отлично. Тогда и ты дай мне номер своего телефона.

Прощаясь потом у машины, они крепко обнялись, и Олег произнес тихо:

— Какие же все-таки наши матери, Паша... Сколькому они нас научили не только своей жизнью, но и своей смертью...

— Да, я тоже сейчас подумал, что, несмотря на все пережитое, вряд ли мы принадлежим к разряду несчастных, поскольку нам с тобой очень повезло.



— Расскажу обо всем жене и сыну. А ты обо мне тут пока никому... Мы встретимся.

— В этом я почему-то даже и не сомневаюсь.

### Глава тридцать первая

Велешев решил все-таки позвонить Валерии. И едва только пришло такое решение, ему захотелось сделать это немедленно — охватило беспокойство за нее и стало стыдно за себя. Как же это так, в самом деле, — столько времени не мог даже поинтересоваться, почему она молчит?

Он сидел в своем кабинете в больнице и уже схватил было телефонную трубку, но сразу же положил ее, подумав, что тут в любую минуту могут отвлечь, и нормального разговора с Валерией не получится. Лучше уж позвонить ей вечером из дома, причем в такое время, когда она тоже вернется с работы. И свои больничные дела он продолжал потом с каким-то тревожным ощущением, что день тянется невыносимо долго.

А вечером, придя с работы, только-только переоделся и, совершенно случайно глянув в окно, увидел вдруг подбегающую к дому машину. Это была темно-зеленая “десятка” Валерии. Тонированные стекла скрывали нутро “Жигулей”, и у Велешева тревожно прыгнуло сердце — подумалось почему-то, что приехал Ленька, и он сообщит сейчас о какой-нибудь неприятности или беде, случившейся с матерью. Однако на свет Божий неспешно выбралась из машины сама Валерия и, скользнув взыскательным взглядом по окнам велешевского дома, открыла заднюю дверцу автомобиля, принялась доставать что-то с сиденья.

Велешев как был в спортивных брюках, в майке с короткими рукавами и домашних тапочках, так и ринулся из дома ей навстречу. Лишь во дворе он замедлил свой суматошно-стремительный ход, и за ворота вышел, демонстрируя, пожалуй, даже излишнее спокойствие.

— Здравствуй, — постаравшись сделать лицо не более чем приветливым, сказал он.

— Здравствуй... — окинула его Валерия изучающим взглядом. — Что же ты выскочил в майке — холодно ведь уже. Да еще в домашних тапочках — додумался тоже... Грязи на них сейчас натащишь в дом.

— Ничего, — смущенно оглядев себя, улыбнулся Велешев. — Я ведь на минутку.

— Ну и долго ты будешь стоять? Помоги мне в конце концов.

В одной руке она держала сумку, в которой были продукты, а другой прижимала к груди белоснежный букет крупных астр, упакованный снизу, наверное, во что-то влажное. Велешев принял у нее сумку с продуктами, дамскую сумочку, соскользнувшую с плеча, и Валерия с некоторой долей церемонности подставила ему щеку. Он коснулся щеки губами, уловил родной, волнующий запах ее кожи и волос, и опять у него прыгнуло сердце — на этот раз от непроизвольного радостного чувства.

Войдя в дом, Валерия попросила подыскать какую-либо посудину для привезенных ею цветов, и он принес вазу. Но букет был слишком велик для вазы с узким горлышком, и в конце концов пришлось поместить его в трехлитровую банку.

— Это завтра... Анне Тимофеевне, — едва слышно произнесла Валерия.

— Что же ты не приезжала? — вырвалось у него. — У тебя случилось что-нибудь?

— Стучилась та же беда, что и у тебя.

— Это какая же?

— Не стало Анны Тимофеевны. И приехать раньше, чем сегодня, я не могла.

— И даже не позвонила...

— И звонить не могла. И хорошо, что ты не звонил.

— Странно...

— Для тех, кто не понимает, конечно, странно. Надеюсь, со временем

поймешь. А сейчас прошу тебя: не надо этих “что” да “почему”. Пожалуйста, не спрашивай меня больше об этом, ладно?

— Ладно, — пожал он плечами, — больше не спрошу.

Потом они вместе готовили ужин, и разговор как-то не очень клеился — говорили о сиюминутном и словно боялись касаться главного. От этого обоим было не по себе. Валерия, видимо, сознавала, что причиной столь несвойственного для них обоюдного душевного неудобства является прежде всего она, и вдруг, повернувшись к Велешеву и глядя на него повлажневшим и каким-то виновато-жалобным взглядом, попросила:

— Расскажи, как все было.

И опять ему пришлось рассказывать о кончине Анны Тимофеевны, обо всем с этим связанным. И хотя говорить он старался спокойным уравновешенным тоном, в душе помимо его воли нарастало нечто вроде мучительного протеста: сколько же можно терпеть такую пытку, за что мне такое наказание — переживать все заново, рассказывая об этом одному, другому, третьему?..

— Значит, вспоминала обо мне... — стараясь не смотреть на Велешева, едва слышно произнесла Валерия.

— Вспоминала... — тяжело вздохнул Велешев. — Велела мне беречь тебя, просила, чтобы мы берегли свою любовь. Сказала, что не надо роптать на нынешнее жестокое время, на плохих людей, а нужно... — он замолчал, поймав себя вдруг на том, что говорит уже по письму, которое Анна Тимофеевна оставила своему сыну.

— Что нужно? Как она дальше сказала?

— Сказала, что для нас сегодняшнее суровое время должно стать временем любви, веры и верности, и только этим мы можем спастись от всего темного и злого.

— Поразительно. Перед смертью думала об этом... Думала о нас...

— И о сыне. Все последнее время чувствовала, что он живет где-то и скоро придет. В этом она была... как-то очень уж сильно убеждена.

— Если так сильно чувствовала, — заторможенно глядя перед собой, сказала Валерия, — то, может, он и в самом деле придет.

Велешев с удивлением посмотрел на нее. И заметил вдруг, что за то время, пока они не виделись, Валерия вроде бы осунулась, пожалуй, даже похудела и выглядела сейчас так, будто сильно озябла. И ему стало жалко ее. Он подошел, положил руки ей на плечи и спросил:

— Тебе холодно?

— Да, что-то зябко. Согрей меня хоть немного.

Велешев обнял ее, и Валерия, словно ища защиты, прижалась к нему. Без единого слова стояли они так минуты три.

— Спасибо тебе, — сказала она потом. — Иногда ты умеешь кое-что замечать.

Большая часть яств, привезенных Олегом Малояровым, осталась нетронутой в холодильнике, и когда Велешев начал выкладывать на стол эти деликатесы в непривычно изящных упаковках, Валерия удивленно приподняла брови:

— Ничего себе... Откуда у тебя такая роскошь?

— Да заезжал тут на днях один старый знакомый...

— Продукция отнюдь не нашего производства, — определила Валерия чуть позже. — Такая ароматная баночная ветчина... И все остальное отличного качества. Он, этот твой знакомый, из-за границы, что ли, приезжал?

Велешев не любил врать даже тогда, когда это было необходимо, но тут все-таки пришлось.

— Он из Сербии, доктор медицины. На конференциях научных встречался когда-то.

— И зачем же он к тебе приезжал?

— Да просто заскочил навесить. Ехал мимо... в Дивеевский монастырь.

— А как он узнал, что ты здесь живешь?

— Ну... мы же перезваниваемся изредка.

Валерия посмотрела на него внимательно, даже вроде бы с настороженностью, однако все-таки прекратила расспросы.

Оставалась у Велешева и сербская ракия. Валерия привезла хорошего вина, но когда сели за стол, он предложил:

— Ты лучше выпей ракии. Она виноградная, мягкая и сразу тебя согреет.

— Хорошо, наливай.

Подняли рюмки, и Велешев, склонив голову, вздохнул:

— Надеюсь, Анна Тимофеевна не обидится на меня за то, что в который раз... поминаю ее с рюмкой в руке. Так уж оно получается...

— На кого она вправе обидеться, — тихо, почти шепотом, произнесла Валерия, — так это на меня.

— Что-то не ту панихиду мы запели, — выпрямился Велешев. — Да ни на кого она не обидится. Если видит нас отсюда, то рада, что мы вместе, вот и все. Ну что ж... За упокой светлой души ее.

Сербское спиртное и в самом деле оказало на Валерию благотворное действие. Щеки ее слегка порозовели, в темных глазах появился трогательный мерцающий блеск.

— Целебная прямо-таки, — похвалила она ракию. — Намного мягче нашей водки, и во мне как-то сразу согрелось все.

— Ну и слава Богу.

Однако ела Валерия без своего обычного энтузиазма, даже как бы нехотя, и лицо ее при этом имело такое выражение, будто она постоянно прислушивается к чему-то в самой себе или о чем-то вспоминает. Наверное, потому и у Велешева душа пребывала в каком-то непривычном оцепенении. И ужинали по большей части молча.

— Чего бы тебе хотелось больше всего? — положив вилку и пристально глядя на Велешева, спросила вдруг Валерия.

— Ты это... — слегка оторопел он, — по поводу окружающего мира или насчет самого себя?

— Насчет себя.

— Хотелось бы... научиться быстро уничтожать в себе любые обиды.

— Хм... — потупившись, покачала головой Валерия. — Интересно... — И словно спохватилась вдруг: — Но ведь бывают такие обиды...

— Хочешь сказать о тех случаях, когда человека стремятся свести “на нет” нравственно или даже физически?

— Да, имею в виду это.

— По-моему, тому, кто властен над собой по-настоящему, падение не грозит, как бы его ни поливали грязью, как бы страшно ни порочили. А если пытаются уничтожить физически, то, конечно, необходимо принимать надлежащие меры для защиты. Только делать это лучше без злости и ненависти. Ведь то, что человек творит во гневе, всегда неблагоразумно. А во-вторых...

— И что же во-вторых?

— Я думаю, что в каждом, даже небольшом, всплеске злости или ненависти кроется зародыш убийства.

— Вон даже как ты думаешь...

— Даже так, — глядя на свои ладони, лежащие на столе, усмехнулся Велешев.

— Анна Тимофеевна однажды сказала... — после некоторого обоюдного молчания возобновила разговор Валерия, — что главное — быть счастливым в доброте и быть добрым в несчастье...

— Надо же — как хорошо ты запомнила.

— Да, запомнилось. Она считала, что в этом духовный смысл человека, его духовное достоинство. А вот сам Дух... Что это такое, по-твоему? Как ты его понимаешь?

Велешев удивленно смотрел на нее, даже растерялся на мгновение.

— Ну... Дух... это... — сдвинув брови, начал он. — Такой вопрос задала, что сразу-то вряд ли сориентируешься. Однажды было так сказано: “Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит...”

— Это твои слова?

— Да нет, что ты. Это было сказано две с лишним тысячи лет назад.

— А мне интересно твое личное понимание Духа. Есть оно у тебя?

— Думаю, что есть. Только вот личным, собственным называть его было бы грешно, потому что такое понимание, скорее всего, свойственно не только мне.

— Ну, хорошо, давай объясняй.

— Нелегко это объяснить. Но я все-таки попробую. Начнем хотя бы с того, что... Вот скажи мне: ведь наверняка же тебе не раз хотелось чего-то иного, чем деньги, которые ты зарабатываешь, красивая одежда, машина и прочее, что у тебя есть. Не раз казалось, будто и вокруг не так, и в душе не то. Было ведь такое?

— Конечно, было. Сколько угодно.

— Вот это, по-моему, и есть Дух — желание совершенства. И не только это. Наверно, еще и сокровенный глубинный свет в человеческой душе, в окружающей природе. Дыхание Божие. То, что пропитывает жизнь особым каким-то, святым смыслом, руководит ею, не дает ей сорваться в бездну отчаяния, превратиться в черный вихрь ненависти и злобы.

— Но иной раз кажется, будто она и в самом деле превращается в этот черный вихрь.

— Да. Потому что люди живут чем угодно, только не Духом. Дух, как было сказано, дышит везде, и голос его слышен, но мы не обращаем на него внимания, не откликаемся душой на его зов. И по этой причине наша жизнь бедна. Многие терзаются от ощущения нехватки чего-то главного, от смутного неудовлетворения. Нам дано такое сокровище, а мы живем нищими, не умея распорядиться этим богатством...

— Анна Тимофеевна, наверно, умела.

— Она умела. Не только жила Духом, но и людей вокруг себя питала им. И чувствовала, что небо видит все. Помнишь эти ее слова?

— Конечно, помню.

Валерия подставила руки под подбородок и сидела, не произнося больше ни слова, печально уставившись в одну точку. Велешев тоже молчал, машинально покручивая пальцами рюмку.

— Кажется, я очень устала... — вздохнула Валерия.

— Понятное дело — столько километров за рулем... Тебе надо срочно перебазироваться в постель и постараться заснуть.

— И стараться нечего — сразу отрублюсь. А ты?

— Наверное, пободрствую немного и тоже лягу. Может, почитаю что-нибудь.

— Ты извини, что я так...

— Ну вот, нашла, за что извиняться.

Когда она улеглась, Велешев, стараясь не шуметь, убрал все со стола, перемыл посуду и, накинув на плечи куртку, вышел во двор.

Еще не рассеялось впечатление от недавнего разговора с Валерией, и он думал о том, что она сегодня не такая, как раньше. “Похоже, переживала нешуточно, да и сейчас еще переживает. И эти ее неожиданные вопросы... Но почему же все-таки на похороны-то не приехала?..”

Вернувшись в дом, Велешев, стараясь ступать неслышно, заглянул в спальню. Валерия спала, сладко посапывая, обнимая притулившегося к ней кота Федора. “Уже успел устроиться, деятель”, — покачал головой Велешев. И потихоньку вышел из спальни, посидев немного в раздумье, взял с книжной полки Евангелие, отыскал в святом благовествовании от Иоанна слова: “Дух дышит, где хочет...” Потом расположился на диване и с каким-то новым интересом углубился в чтение уже не единожды прочитанного.

Утром его разбудило дыхание сильного ветра, который порывами налетал на дом и швырял в стекла дробью дождевых капель. “Ничего себе... — поразился Велешев. — Такая ясная и тихая была ночь, так уверенно морозило, и вот, поди ж ты — в какие-то считанные часы все изменилось. Что ж... Случается нечто подобное и с человеческой душой...”

Еще только светало, но он решительно поднялся с дивана и, прихватив с собой одежду, осторожно выбрался на кухню. Валерия, однако, тоже проснулась и спросила из спальни:

— Паша, ты чего там бродишь, как привидение? Рано ведь еще.

Он прошел к ней, и Валерия, словно ребенок, протянула к нему руки. Велешев наклонился, и она обняла его за шею, чмокнула в щеку.

— Мне в больницу надо ненадолго, — словно извиняясь, сказал он. — А ты пока спи.

— Что это там шумит, на улице?

— Ветер с дождем. А может, и со снегом.

— Да это с какой же стати? Ой... Ехать обратно по слякоти...

— Но не сегодня же. Глядишь, еще наладится.

— А ты почему сегодня в больницу? Суббота ведь.

— Проведу обход больных. Погода резко изменилась — наверняка некоторым сейчас плохо. Сделаю дополнительные назначения. Как раз вернусь, когда ты доспишь.

— Ладно, поваляюсь еще немного. Подвинь ко мне Федора.

И Велешев почувствовал, что на душе у нее смутно. Когда с ним самим бывало так, он тоже прибегал к помощи кота — от его близости явно становилось легче.

Федор, свернувшись калачиком и прикрыв нос лапой, лежал теперь в ногах у Валерии. И едва только Велешев прикоснулся к нему, как тот, не успев еще открыть глаза, прихватил зубами его палец. Но не с тем, чтобы укусить, а просто давая понять, что тревожить его в такое ненастное утро не стоит. И когда он был устроен под мышкой у Валерии, то все еще продолжал держать в зубах хозяйский палец.

— Отдай, — попросил Велешев. — Тебе тут вон какие привилегии оказывают, а ты недоволен.

— Нашел кому завидовать... — рассмеялась Валерия.

Федор, видимо, осознав оказанную ему привилегию, отпустил велешевский палец, сладко зевнув, положил голову на предплечье Валерии. И, медленно закрыв глаза, начал мурлыкать с присущей ему сдержанностью — словно бы внутри себя.

На улице бесновалась непогодь — пока, слава Богу, без снега. Велешев попытался было защититься от хлесткой дождевой мороси, но ветер бил такими порывами, что сразу же вывернул зонтик, едва не поломав спицы. Пришлось сложить его и поднять воротник пальто, поплотней надвинуть кепку. “За что ты так на нас?” — глянул на небо Велешев. Облака, иссиня-седые, пухлые от влаги, неслись, казалось, над самой головой.

В больнице он пробыл недолго — вернулся как раз к завтраку, который приготовила Валерия. Перемыв после завтрака посуду, она подошла к окну, некоторое время в раздумье смотрела, как ветер неистово треплет ветви старого клена, стоящего перед домом, осыпает с него семена, потом повернулась к Велешеву:

— Ну что ж, поедем на машине.

— Куда ты собралась? — удивился он.

— На кладбище. Навестим Анну Тимофеевну.

— Но ты же видишь, что творится на улице. К вечеру, может, утихнет.

— Нет, поедем сейчас. Я не могу больше ждать.

И он понял, что лучше не возражать.

На кладбище, среди деревьев, было гораздо тише, чем на открытых местах — ветер буйно разгуливал только по верхам дубов, берез и рябин. И дождь вроде бы поутих, лишь веяло мелкой водяной пылью. Валерия, найдя местечко среди венков на могиле Анны Тимофеевны, положила цветы и, выпрямившись, с каким-то жалобным отчаянием глянула на Велешева. И вдруг разрыдалась.

— Не могу! — вырвалось у нее. — П-п-понимаешь — не могу я на это смотреть!

Она плакала так безутешно, что в первые мгновения он растерялся, словно окаменел. Потом стал успокаивать ее, но без толку — Валерия рыдала и рыдала, обессиленно повиснув на нем. Велешев обнял ее и потихоньку повел к выходу с кладбища, а она продолжала плакать, отрешившись и от него, и от всего окружающего мира. Кое-как успокоиться ей удалось толь-

ко в машине. Сложив руки на руле и уткнувшись в них, Валерия теперь уже не плакала, а время от времени всхлипывала произвольно, содрогаясь всем телом. Велешев, тихонько поглаживая ее по спине, смотрел в одну точку сквозь ветровое стекло и думал о том, что совсем недавно он уже сидел вот так же в машине — здесь же, возле кладбища. Только в другой машине и с другим человеком, который страдал по тому же поводу. “Наверное, Господь Бог вразумляет меня, — медленно кивал он головой, — раз за разом определяя в свидетели тех страданий человеческого сердца, которые отнюдь не излечиваются хирургическим путем. И самому добавляет этих страданий...”

Наконец Валерия все-таки сумела взять себя в руки окончательно. Смущенно отворачиваясь от Велешева, наспех привела в порядок свое лицо, решительно включила двигатель.

...Дома, едва только разделись, она попросила тихим, с хрипотцой, голосом:

— Пожалуйста, дай мне выпить. Этой самой... сербской твоей. Давай выпьем вместе.

— А я как раз хотел предложить. И советую сразу граммов сто. По себе знаю, что поможет.

— Да, пожалуй, так и надо.

Ракия в безразмерной сербской бутылки еще оставалась, и они без промедления выпили залпом по большой рюмке — не чокаясь, молча обменявшись взглядами. Из комнаты вышел заспанный кот Федор, и поскольку Велешев с Валерией жевали сыр, он запрыгнул на табуретку с третьей стороны стола и сидел с хмурым видом, давая понять, что ему тоже не мешало бы перекусить. Велешев достал из холодильника кастрюльку с вареной рыбой путассу и положил Федору одну из рыбин на его прорезиненную “скатерку” возле отопительного котла. Кот ринулся к “скатерке” и, нетерпеливо урча, принялся завтракать. А хозяин обеспечил ему еще и второе блюдо — налил в алюминиевую мисочку молока.

Валерия молча наблюдала за ними. Когда Велешев снова уселся напротив нее за стол, она некоторое время сосредоточенно смотрела мимо него и вдруг спросила:

— Хочешь знать, почему я не приехала раньше?

— Ну, если это не является какой-то твоей особой тайной... А если трудно об этом говорить, то, может, и не стоит?

— Нет, я скажу. Не приехала потому, что не могу выносить... смерти.

— Хм... — недоуменно пожал он плечами. — Да и любого возьми — что ж тут приятного? Но когда человек все-таки умер...

— Никак ты не поймешь. Я не выношу... Физически и морально не выношу этого.

— Чего именно?

— Да я же сказала: смерти. Всего, что с нею связано. Суди, как хочешь, но не могу видеть похороны, лицо мертвого человека — белое, потустороннее. Не могу видеть гроб — одна лишь его конфигурация повергает меня в смятение, вызывает в душе протест. И точно так же все эти атрибуты, вырытая могила... Мне плохо от запаха тления человеческого тела. Поверь — очень плохо, меня начинает тошнить. Одна только мысль о том, что человек жил, кого-то любил, в том числе, может, и меня, желал мне добра, стремился к чему-то лучшему, и вот он лежит в гробу, а от него исходит тлетворный запах, — одна только эта мысль наполняет мне душу диким ужасом. Я боюсь смерти — понимаешь? И особенно страшно видеть мертвым родного, близкого человека. Честное слово, я не могу... — глаза ее наполнились слезами. — С некоторых пор стала избегать похорон, и мне нужно время, чтобы хоть как-то свыкнуться с тем, что близкого человека нет больше в этом мире, в одном мире со мной... Пойми: тут вовсе не пренебрежение, тут совсем другое...

Она выглядела настолько беззащитно-растерянной, что Велешеву пронзило душу острым чувством жалости. Он хотел обнять ее, привлечь к себе, но что-то упрямо диктовало ему: нет, жалость тут не подмога.

— Ну? — сквозь слезы смотрела на него Валерия. — Понял ты, наконец, или нет?

— Нет, не понял, — ответил он. — Мне странно: так боишься смерти, ее вида и даже одной только мысли о ней, а сама носишься на машине, как угорелая, лезешь на дерево, не думая, что, треснувшись с него, можно свернуть себе шею...

— Я потому и езжу быстро, что не думаю о смерти, не хочу думать о ней. И когда с дерева упала, то не разбилась только потому, что ни на секунду не помышляла о смерти.

— Ты не разбилась только потому, что залезла не слишком высоко. И, кстати, там вовсе не чага росла, а обычный трутовик, похожий на булыжник. То есть... во имя чего было подвергать себя такой опасности? Если уж подвергать, то, наверное, надо знать, во имя чего. Мы с Фадеичем... — заговорил он спокойней и тише, — недавно тоже говорили о смерти. Я начал сетовать: опоздал, дескать, не сумел спасти Анну Тимофеевну, а он моментально поставил меня на место. Сказал, что нет ни одного мгновения, которое не могло бы стать последним в нашей жизни. И в самом деле ведь. Иной ложится в постель, чтобы дать отдохнуть душе и телу в ночном сне, а засыпает сном вечным. И если можно умереть в любой момент, то, наверное, надо постоянно учиться жить так, чтобы всегда быть готовым к смерти...

— Паша, ну что ты несешь? Как это можно — быть всегда готовым к смерти?

— Я хочу сказать, что для тебя смерть и страшна-то именно потому, что ты изо всех сил стараешься не думать о ней. А, наверно, самое лучшее средство от боязни смерти — это как раз думать о ней, всегда иметь ее в виду.

— Значит, по-твоему, у меня в голове без конца должна торчать мысль о смерти?

— Ну, зачем же так упрощенно? Я говорю о том, что не станешь ее бояться, если заранее примиришься с ней, как бы присоединишь ее к своей жизни.

— Примириться со смертью? — обдала его Валерия вишневым огнем своих глаз. — Присоединить ее к своей жизни? Да ты в своем уме?

— В своем. И, по-моему, именно так: примириться и присоединить. Тогда и на окружающее станешь смотреть по-другому — начнешь все переоценивать. И свои взаимоотношения с жизнью будешь строить на совсем ином уровне.

— Да не хочу я примиряться со смертью! Не хочу смотреть на все вокруг по-другому! Не желаю думать о смерти и знать, что она есть! Я живу и хочу жить — это тебе понятно?!

— Это мне понятно, — спокойно ответил Велешев. — Но знаешь... Я ведь врач, и, разумеется, не раз приходилось видеть, как люди умирают. Некоторые отходят в каком-то мятежном состоянии, с диким ужасом в глазах. Я теперь понимаю, почему. Потому что до самой последней минуты не допускали мысли о смерти. А иные совершенно спокойны, и даже лицо у человека вроде бы какой-то тихой радостью светится. И будто бы чувствуешь, как душа его отлетает — светлая, умиротворенная. Анна Тимофеевна так умерала...

— Не говори мне об этом! Не хочу, не хочу, не хочу!..

И она снова заплакала, закрыв лицо руками. У Велешева сжалось сердце. Несколько мгновений он смотрел на нее растерянно, однако все тот же упрямый внутренний голос в глубине его души резюмировал бесстрастно: "Хорошо, что сказал ей все это. Именно так и надо было". Обойдя стол, Велешев осторожно обнял ее голову, стал тихонько поглаживать по волосам.

— Мне... мне... — всхлипывала она, — очень плохо... Я...я... у-у... уснуть хочу.

Он молча помог ей подняться, отвел ее в спальню и, уложив на кровать, укрыл теплым пледом.

— И сам тоже... — несколько успокоившись, попросила Валерия. — Побудь, пожалуйста, рядом.

Велешев прилег с краешку, а через некоторое время к ним присоединился кот Федор. Он пробрался к самому лицу Валерии и, едва заметно шевеля усами, принялся к ее щеке.

— Феденька, — обняла его Валерия. — Все-таки ты, оказывается, чувствуешь.

— Чувствует, — подтвердил Велешев. — Когда у меня плохо на душе, он возникает откуда-то, как из-под земли, и устраивается рядом. И ты знаешь — от него становится легче.

— И мне уже легче. Я посилю, ладно?

— Поспи и не бойся ничего. Главное — ничего не бояться.

Она уснула почти мгновенно, а через некоторое время и Велешев потянул себя во сне. Когда очнулся — а произошло это часа через два, — Валерия еще спала, и он ощутил, какая она вся горячая. “Неужто простудилась?” Велешев осторожно соскочил с кровати, принес термометр и, потихоньку растегнув на Валерии блузку, попытался всунуть его ей под мышку.

— Куда лезем без спроса? — не открывая глаз, прижала его руку Валерия.

— Градусник хочу поставить, — улыбнулся он. — Кажется, у тебя температура.

— Да, по-моему, есть.

— Чувствуешь, что простуда?

— Да вроде бы нет. Просто жарко, и все.

Температура у нее была тридцать восемь с лишком. Велешев тщательно выслушал легкие и сердце Валерии через фонендоскоп, однако ничего подозрительного не обнаружил. Артериальное давление было несколько выше нормы, но совсем не опасно. Не просматривалось ни малейшей воспаленности и в горле.

— У тебя где-либо внутри болит что-нибудь, ноет, дерет? — спросил Велешев.

— Да вроде бы ничего.

— Тогда это, скорее всего, нервное. Бывало такое раньше — температура без видимых причин?

— Бывало, и не раз.

— Ладно, сейчас сделаю тебе чай из мяты, ромашки и семян укропа. Очень вкусный. Думаю, что через часок-другой температура придет к норме.

Так оно и вышло. С удовольствием напившись необычного чая, изготовленного Велешевым, Валерия вскоре опять заснула, и через некоторое время, коснувшись ее лба, он почувствовал, что температурный протест ее организма иссяк почти совсем.

Валерия проспала и весь вечер, и всю ночь, а утром проснулась свежая, радостная. И за окнами была уже иная картина — непогодь ушла куда-то дальше, по небу обессиленно плыли последние рваные облачка, и чувствовалось, что день будет тихим и солнечным.

— А давай пойдем в церковь, — предложила вдруг Валерия.

— Давай пойдем, — с радостным удивлением согласился Велешев.

...В церкви она купила свечи и, с несколько таинственным важным видом лавируя между прихожанами, поставила свечу на Канун, потом к распятию, к иконе Божией Матери “Всех скорбящих радость” и, пошептавшись с одной из старушек, направилась туда, где ставились свечи всем святым. Велешев наблюдал за ней, и у него счастливо щемило сердце.

Во время литургии Валерия стояла с отрешенным лицом, так, будто Велешева вовсе не было рядом. И крестилась неспешно, грациозно. “О чем она молится? — подумал Велешев. — Интересно, что бродит сейчас в ее голове?..”

Сам же он простыми обычными словами мысленно просил Господа укрепить Валерию и его, Велешева, как в любви к Истине Божией, так и в любви друг к другу. Просил здоровья родным и друзьям, помощи в лечении больных, называя при этом всех по именам. Молился также и об упокоении усопших рабов Божиих — новопреставленной Анны, родителей своих, жены, всех сродников по отцу и по матери, всех православных христиан, здесь и повсюду в мире лежащих. Он всегда молился так, бывая в церкви. Иногда, правда, прибавлял к этому и особые просьбы — например, о ниспослании покоя и отдыха сестре Антонине, о даровании семейного благополучия рабу



Божью Аркадию, то бишь Отроченкову, и мира душевного — рабу Божию Сергию, то есть Болотину. Но прежде всех этих просьб, едва только входил в церковь и проникался ее Духом, Велешев просил у Бога прощения за все свои поступки, которые казались ему неправедными. Их он тоже перечислял мысленно — как совершенные в далеком прошлом, так и недавние. Из-за вечной нехватки времени бывал он в церкви нечасто, и от этого по душе нет-нет да и пробегала тень вины. “Надо, обязательно надо бывать тут постоянно, — думал Велешев. — Особенно врачу нельзя жить без настоящего покаяния, без этой всевышней поддержки...”

К концу службы, когда шло причащение, он шепотом предложил Валерии отдохнуть — присесть на скамейку, которая именно для этого стояла у окна, но она глянула на него таким отчужденно-осуждающим взглядом, словно ей было предложено совершить какое-то святотатство.

Когда они вышли из церкви, то со всей возможной в это время года щедростью светило солнце и повевало невесть откуда взявшимся у осени ласковым теплом.

— Здорово, да? — блаженно сощурившись, глянула на Велешева Валерия.

— Здорово, — подтвердил он. — А ты у себя в городе, судя по всему, тоже бываешь в церкви?

— Захожу иногда по большим праздникам или родителей помянуть. Поставлю свечи, постою минут десять... А так, как сейчас, — впервые. Тут не то, что в городе. Тут... удивительно.

— Чем же, по-твоему?

— Здесь как-то... по-настоящему свято все. И... хочется жить полноценно. Очень хочется.

— Да... — вздохнул Велешев. — К сожалению, мы во многом живем тем, что абсолютно не стоит жизни. Наверное, от этого и происходит вся наша неудовлетворенность. Сколько пережито такого, что казалось хорошим и нужным, а на самом деле лишь соблазняло и разочаровывало...

Уселась в машину, но Валерия почему-то медлила, не включала двигатель.

— Знаешь... — сосредоточенно глядя перед собой, сказала она. — Я иной раз думаю: до нас ли Господу Богу? Столько сейчас несчастных, страдающих и рыдающих, что у Него, наверное, и сил-то уж не хватает на такие несметные полчища...

— Один великий святой, который исцелял людей и был провидцем, — ответил Велешев, — считал, что Бог заботится о каждом из нас так, как если бы тот был у Него единственным.

— Хм... — удивленно уставилась на Велешева Валерия. — Это интересно. Это... очень утешительно.

Приехав домой, они с удовольствием пообедали, и только теперь Валерия в полной мере ощутила усталость от стояния в церкви.

— О-ой... Меня ноги не держат. Хочешь — суди, стреляй, но я сейчас опять рухну спать. Дай мне кота.

— Его нет. Где-то при своих делах.

— Позови его с крыльца. Может, придет.

Велешев вышел на крыльцо, позвал Федора, но тот не появлялся — видимо, отбыл в места, недосыгаемые для хозяйского голоса.

— Ну, Бог с ним, — сказала Валерия, — сама усну. Он и без того вон сколько сочувствия мне выразил.

И заснула мгновенно. Велешев примостился рядом и, подсунув ладонь под ее руку, тоже быстренько отлетел в сон.

На сей раз Валерия очнулась первой и, еще не успев как следует открыть глаза, объявила:

— Все. Мне надо ехать.

— Да что ж так сразу... — растерялся Велешев. — Я думал — ты ут-ром...

— Нет, утром важная деловая встреча. Ехать сейчас, и никаких. Но... я же ведь усну за рулем. Что у вас тут за воздух такой? Спишь от него и спишь...

Поднялась она с большим трудом — после стояния в церкви одеревенели мышцы ног. Но решение немедленно ехать оставалось неизменным. Валерия принялась пить чай, а Велешев потоптался немного, размышляя о чем-то, и пошел на веранду, позвонил оттуда по мобильному телефону своему водителю.

— Володя, ты вроде бы собирался дочери в город картошку возить...

— Надо бы отвезти, Павел Андреевич.

— Прямо сейчас есть такая возможность. С “Жигулями” десятой модели справишься?

— И с сотой справимся, если надо.

— Да такой вроде бы еще нет.

— Справимся, когда будет. А на этой-то я туда за два часа долечу.

— Ну, уж так быстро-то ни к чему. С тобой ведь пассажир будет, а он, кстати, и владелец этой машины.

— Понял, Павел Андреевич. И ценного пассажира, и его машину доставим в полной сохранности. Сейчас картошки наберу, и подъедем с сыном на мотоцикле.

— Только вот из города тебе придется на автобусе.

— Да мне хоть на автобусе, хоть на попутной.

Когда Велешев объявил Валерии, что вести машину ей не придется, она по своему обычаю воскликнула “ура” и захлопала в ладоши. А потом вдруг растрогалась чуть не до слез.

— Это ведь надо же... Я как раз думала: Господи, хоть бы кто-нибудь сел за руль вместо меня. А мне бы подремать, расслабившись, подумать обо всем, глядя по сторонам... И ты уловил мои мысли.

— Но Федора я тебе с собой не дам.

— Не надо, я ему и так благодарна. Пусть он тебя тут бережет.

Вскоре подъехали Володя с сыном, и когда они перегружали с мотоцикла в багажник “десятки” мешок с картошкой, Валерия быстро обняла Велешева, поцеловала в щеку и, потеснив его в сторону, зашептала в ухо:

— Не обижайся на меня, ладно? Я, наверное, вела себя не слишком... Во время того нашего тяжелого разговора, скорее всего, во многом ты был прав. А я разревелась, как дурочка. Пойми: моей душе все это пока еще очень трудно принять.

— Я понимаю, — ответил он. — Всеу свое время. Ты успокойся и меня тоже прости. Я, похоже, не рассчитал — надавил слишком сильно.

## Глава тридцать вторая

Велешев стал постоянно ездить к Валерии, а попутно старался решить в инстанциях областного города какой-либо наболевший вопрос относительно своей больницы, тем самым словно бы оправдывая эти поездки. Они и в самом деле оказывались по большей части оправданными, поскольку губернатор после выборов остался в области прежний, и к тем, кому он оказал во время предвыборной кампании особое внимание, в инстанциях осмотнительно благоволили. Благодаря этому состоянием дел в больнице Велешев был доволен, однако вряд ли он мог бы похвастаться таким же порядком и в своих душевных делах.

Валерия тоже приезжала к нему, но значительно реже, чем он к ней. Зимой — Велешев это чувствовал — ее в Поречье не слишком тянуло.

И чем больше он узнавал ее, тем сильнее поражался: насколько же они разные абсолютно во всем.

Она обладала веселым, задорным нравом, но в то же время была и невероятно вспыльчива. В начале их отношений ей неплохо удавалось подавлять в себе это, но по мере того, как они привыкали друг к другу, страсть гнева у нее незаметно раскрепостилась и стала проявляться периодически. Валерия могла вспылить абсолютно неожиданно по самому пустяковому поводу и являла собою в такой момент настоящую фурию. Пухлые губы извергали громы, темные глаза метали острые молнии, лицо пылало огнем,

и даже казалось, будто волосы Валерии, прилегающие к голове, несколько приподнимались.

Принимая первые такие “боевые крещения”, Велешев, остолбенев, смотрел на нее с ужасом, не в силах вымолвить ни слова. Но постепенно приучился вполне спокойно переживать эти яростные обстрелы, и когда “боезапас” у Валерии подходил к концу, пытался хоть как-то урезонить ее.

— Знаешь... — сказал он ей однажды, — ты со своей вспыльчивостью уподобляешься тому, кто хранит огонь в соломе.

— На то она и солома, чтобы гореть! — ответила Валерия.

— Она быстро сгорает, и человеку становится холодно.

— Ничего, руки-то можно греть устепь погреть.

— Я не из тех, кто любит греть руки таким способом. И не люблю смотреть, как люди сжигают самих себя.

— Не любишь смотреть — так отвернись. А потом глянешь — и увидишь, что солома сгорела, а человек остался.

— Не весь человек остается, в нем обязательно что-то сгорает. И во мне тоже. И того, что сгорело, обоим будет жалко.

Как-то раз, когда громы Валерии гремели в полную силу, молнии сверкали подобие сабельных лезвий, и волосы на ее голове почти уже стояли дыбом, Велешев, не выдержав разгула этой стихии, схватил вдруг Валерию за плечи, развернув, подтолкнул к зеркалу и жестко поставил ее перед ним. Она мгновенно умолкла, некоторое время пораженно смотрела на себя в зеркало, а потом, отпрянув и заслоняясь руками, произнесла с невыразимым отвращением:

— Фу!.. Какая жуткая ведьма!

Велешев с трудом удержался от смеха, а Валерия растерянно плюхнулась в кресло и довольно долго сидела молча, не поднимая глаз.

После этого бури прекратились надолго, однако все-таки опять наступил момент, когда стихия неожиданно разыгралась. Велешев, теперь уже недолго думая и вполне решительно, развернул Валерию по направлению к зеркалу, и она, сопротивляясь изо всех сил, взмолилась вдруг:

— Не надо! Ради Бога, не надо! Я ее там боюсь!

На сей раз он не выдержал — расхохотался, схватившись за живот. Валерия несколько мгновений смотрела на него недоуменно, а потом тоже принялась смеяться. И они долго смеялись вместе. С той поры если и бывали вспышки, то совсем незначительные, да и те быстро гасли. Как только лицо Валерии начинало пламенеть от гнева, Велешев спокойно предупреждал:

— Не забывай, кто тебя ожидает в зеркале.

Нелегкая внутренняя борьба срывала ее с места, и Валерия уединялась где-либо в другой комнате. А через некоторое время возвращалась уже спокойная и разговор вела намного теплей, чем до этого.

У нее была хорошая черта — не завидовала никому. Более того — она умела порадоваться успехам друзей и знакомых. А вот ее легкости в делах, а также тому, что ей, как уже успел убедиться Велешев, неизменно сопутствовало внимание мужчин, завидовали, судя по всему, многие. По большей части это были женщины, но злопыхали, по признанию Валерии, и несколько мужчин, у которых зависть по поводу ее деловых удач усиливалась еще и неудачей их былых любовных притязаний к ней. И все это сильно ранило Валерию, не давало ей покоя.

— Я же не мешаю никому, — стиснув кулачки, жаловалась она Велешеву. — Ради Бога — делайте, как я, делайте лучше меня. Но зачем ставить палки в колеса, разносить обо мне повсюду такие гадости, которые и в страшном сне вряд ли могут присниться? Я, конечно, стараюсь терпеть, но иногда так хочется отомстить кому-либо из этих баб, называемых мужчинами, или какой-нибудь змеюшке, которая притворяется подругой, а сама жалит исподтишка... И они меня доведут — уж я постараюсь так отомстить хотя бы одному-двоим, что у всех остальных сразу же пропадет охота подличать.

— Месь — это оружие несчастных, — сказал Велешев. — А ты разве несчастная? Уж если желаешь отомстить, то самый лучший способ — не отвечать тем же. Помнишь, мы однажды уже говорили об этом — о власти над собой?

— Хм... Не отвечать тем же... Вот я пока и не отвечаю. Да мало того — иной раз даже стараюсь чем-нибудь помочь. Может, думаю, уймется человек. А не тут-то было. Сколько раз уже убеждалась, что за искреннее душевное участие, за помощь опять же гадят, да еще и похлеще, чем прежде.

— Да... — вздохнул Велешев. — К сожалению, законы зависти именно таковы. Тут, знаешь ли... Собака, если ее нормально кормить и хорошо к ней относиться, становится доброй и готова за тебя в огонь и в воду. Даже такой страшный зверь, как лев, может стать ручным, если о нем заботиться с душой. А вот завистливый человек... Этому чем больше делаешь добра, тем он по отношению к тебе еще злее и коварнее. И особенно опасен тем, что свое зло и коварство он может скрывать под личиной самого что ни на есть доброго расположения.

— Ну и что же тут может дать моя власть над собой?

— Да ведь в тот раз, когда ты приезжала ко мне после смерти Анны Тимофеевны, мы, кажется, пришли к выводу, что невозможно обидеть человека, если он умеет терпеть, уничтожать в себе любые обиды.

— А я тебе говорю, что не только терплю гадости от этих людей, но и стараюсь делать им добро. И какой же прок? Ждать, когда меня окончательно изведут? Нет, я не хочу этого ждать. И думаю, что завистливый, пакостный человек обязательно должен быть наказан.

— Но ты все равно не сможешь наказать его сильнее, чем он сам себя.

— Что ты имеешь в виду?

— Имею в виду то, что зависть — это змея особого рода. Как бы ни жалела тебя, но прежде всего она пожирает то сердце, в котором рождается. Такое тебе понятно?

— Понятно стало, а легче — нет.

— Будет и легче, если по-настоящему осознаешь, что гнев и мстительность — удел слабых душ.

— Ты так говоришь, что, похоже, считаешь себя очень сильным.

— Нет, не считаю, — усмехнулся Велешев. — Не мстить — на это силы вполне хватает, а вот гнев... Иной раз чувствую, что на моем лице, особенно в глазах, эта позорная страсть отражается весьма четко. Да ведь по-настоящему сильными-то были, пожалуй, только святые. Но и они скорее всего таковыми себя не считали, поскольку наверняка знали за собой слабости, о которых кроме Господа Бога не знал никто. А если говорить о нас, грешных, то победить в себе какую-либо поганенькую страстишку — это, знаешь, ли... От этого в душе появляется ощущение счастья.

— Хм... Интересно... Пожалуй, действительно так. Слушай, а откуда у тебя берутся такие сногшибательные выкладки? Честно говоря, они бередят во мне все, они меня обескураживают, даже раздражают, но... их трудно оппорить. В самом деле — откуда это у тебя?

— Не знаю, — пожал плечами Велешев. — Наверное, от одиночества.

По отношению к своей работе, к деловым партнерам, к любым общественным мероприятиям Валерия проявляла неукоснительную обязательность. А по отношению к Велешеву в ее обязанности иногда происходило нечто вроде сбоя. У них уже почти укоренилось: если Валерия собиралась к нему в Поречье, то звонила не позднее чем за день до поездки, и он успевал подготовиться — покупал что-либо повкуснее, заказывал своим больничным поварам какой-нибудь необычный для городского жителя пирог. Казалось бы, таким отработанным ходом все должно было идти и дальше.

Но однажды случилось совсем по-иному. Валерия позвонила в среду и сказала, что приедет в пятницу. Велешев основательно подготовился к ее приезду и в пятницу ждал звонка — обычно Валерия уведомляла о том, что выезжает. Звонка, однако, не было, хотя время близилось к вечеру. Тогда он позвонил сам, и на работе Валерию не застал. Ее домашний телефон тоже не отвечал. Велешев позвонил ей на мобильный, и, наконец, она ответила. Спокойно сообщила, что находится в Подмоскowie на даче — гостит у своих знакомых телевизионщиков.

— Но ты же обещала приехать ко мне... — растерянно произнес Велешев.

— К тебе я приеду завтра.

Но она не приехала ни на другой, ни на третий день. И даже не позвонила, не удосужилась предупредить, что приезд отменяется. С уязвленной, растрепанной душой Велешев кое-как прожил два выходных дня, и только на работе сумел по-настоящему взять себя в руки, начал обретать суровое спокойствие. И решил больше не звонить Валерии. Но через два дня она позвонила ему сама и заговорила как ни в чем не бывало — начала весело объяснять, почему вместо Поречья оказалась совсем в другой стороне. Он слушал ее молча, с трудом подавляя в себе желание положить трубку, и, уловив его суровую напряженность, Валерия спросила с бесшабашным недоумением:

— Ты что — обиделся, что ли?

— Да нет, не сказать, чтобы... — ответил Велешев. — Просто плохо переношу людей, которые говорят одно, а делают другое.

— Послушай, но бывает же... Подвернулось крайне необходимое дело.

— Но я, наверно, вправе был узнать, что оно подвернулось и поездку ко мне ты отменяешь.

— Ну, так уж получилось... Конечно, я виновата, но какая тут может быть обида! Ты ведь учишься не обижаться, и меня учишь этому. Ой! Представляю, какая у тебя сейчас физиономия. Ты глянь на себя в зеркало.

И она рассмеялась. Смех ее звенел таким залившимся колокольчиком, так искренне, что Велешев тоже рассмеялся и простил ей все.

Подобные случаи повторялись время от времени, и после каждого из них Велешеву каким-то образом удавалось обрести надежду, что такое больше не произойдет.

А потом наступал такой период, когда Велешев не менее четко ощущал, что теперь место в жизни Валерии для него по каким-то причинам вдруг нашлось. Она приезжала радостная, вдохновенная вся какая-то, и все у них складывалось тепло и ладно, на высоком, можно даже сказать, головокружительном уровне.

— Мне иногда кажется, — сказал он ей однажды впрямую, — что я тебе нужен лишь для того, чтобы развеяться, отдохнуть от своей суматохи в спокойной обстановке. Но не более.

— Ну что ты мелешь? Я к тебе отношусь... ты для меня как родник.

— Вот, вот. Пошла — и ходу.

— Не смей так говорить. Это совсем не так.

— Но тогда почему же все время несет-то тебя от меня, словно в поле по ветру? Такое ощущение, что ты боишься настоящего сердечного родства.

— Ну не выдумывай. Прекрати, прошу тебя. Нам же сейчас так хорошо...

Не раз ему казалось — иногда он даже был почти уверен, — что у нее есть кто-то кроме него. Возможно, тот, с кем она хотела бы развязаться, но никак не может. Но встретившись с ней или хотя бы поговорив по телефону, когда Валерия была в добром, веселом расположении духа, он потом со стыдом удивлялся самому себе: как могли прийти в голову такие позорные мысли?

И становилось вдруг ясно, что, несмотря на множество стоящих между ними препон, их все равно неодолимо тянет друг к другу, что им интересно вместе и порой они просто наслаждаются обществом друг друга. Как будто существует в обоих нечто такое высокое, чему в некоторые моменты жизни абсолютно не мешает несоответствие их принципов, привычек и взглядов. И это нечто отвечает друг другу настолько сильно, что иногда делает их души и тела невероятно родными, дышащими воедино.

И такими приливами счастья, казалось, окупаются все душевные муки.

### Глава тридцать третья

В этих душевных муках и приливах счастья, в бесконечной горячке врачебных буден незаметно для Велешева пролетел год, и уже близился к своей половине второй. Вроде бы не столь уж и большой промежуток времени, но на то оно и время, чтобы неустанно вносить в жизнь различные изменения.

Олеко Митич, то бишь Олег Малояров, регулярно звонил Велешеву из маленького, образовавшегося в результате насильственного раскроя Югославии балканского государства. И недавно он с плохо скрываемой радостью и без всякой словесной маскировки сообщил, что скоро у него будет двойное гражданство. То есть он станет еще и полноправным гражданином своей родной страны. Надо только подождать некоторое время, — сказал Олег, — а потом он обязательно придет на родину с женой и сыном.

Что касалось его просьб, то Велешев не терял времени даром. Во-первых, со всевозможным тщанием была обустроена могила Анны Тимофеевны и ее мужа. Оградку поставили более широкую, но гораздо ниже прежней. Смотрелась она красиво: между стойками, увенчанными маковками, выгнутые вниз от верхов стоек, с небольшими промежутками в середине, плавно спускались к земле железные полосы. Казалось, будто это прихваченные местами и ниспадающее волнами к земле покрывало. Памятник был из черного мрамора, простой строгой формы, и с его блестящей поверхности, словно откуда-то из глубины, касаясь друг друга головами, с радостью и благодушием смотрели на мир Анна Тимофеевна с мужем, совсем еще молодые.

Прошедшим летом и малояровский дом был капитально отремонтирован. Велешев нанял хороших спецов, и меньше чем за два месяца они разобрали старый и выложили новый фундамент, заменили на свежие три нижних полусгнивших венца. Разобрали старую шиферную кровлю и покрыли дом оцинкованным железом. И в доме было теперь уже не печное, а газовое отопление, ввели в него и воду. Вдобавок еще обшили дом сайдингом, и выглядел он теперь как на картинке.

Сельчане, зная, что всеми этими делами управлял Велешев, интересовались, не в силах побороть любопытство: дескать, похоже, Анна Тимофеевна подарила вам свой дом-то — уж так вы расстарались... Да нет, спокойно отвечал Велешев, дом принадлежит ее сыну, который скоро вернется. Вот Анна Тимофеевна перед смертью и попросила меня нанять спецов, сделать ремонт. “Да ведь Олег вроде бы погиб, — разводили руками. — Сколько уж лет о нем ни слуху ни духу...” “Жив Олег, — отвечал Велешев, — незадолго до смерти Анна Тимофеевна получила сообщение об этом”. И вскоре разнеслось по всему Поречью: Олег-то Малояров, оказывается, жив, скоро придет. И уж как водится в любом селе, снабдили эту новость домослом, который произносился едва ль не шепотом: дескать, Олег-то Дмитриевич засекреченный был человек, стратегическую разведку производил в чужих странах. “В общем-то, — усмехался Велешев, узнавая об этих слухах, — не так уж и далеко от истины”.

Те же мастера, которые занимались малояровским домом, навели порядок и во дворе у Велешева. Старый покосившийся сарай был снесен, гнилушки увезли на свалку. А на освободившемся месте возникло аккуратное строение, разделенное на две части. Одна предназначалась для дворового, огородного и прочего инвентаря, а другая была этаким уютной светлицей, в которой стояла старая кровать, и летом здесь можно было с удовольствием отдохнуть. Дверь из этой светлицы выходила к беседке, вокруг которой росли как прежние, так и вновь посаженные Велешевым цветы. И еще вдоль всей крытой и застекленной веранды, которая примыкала к задней стене дома, Велешев попросил мужиков построить террасу с перилами и навесом. Поднявшись на террасу по ступеням с угла, по ней можно было пройти до входной двери, где имелось обширное крыльцо со ступенями в сторону огорода. На террасе стояли небольшой столик и стулья, и летними вечерами, перед закатом, пить тут чай было большим удовольствием.

С Фадеичем Велешеву приходилось видеться нечасто, однако традиционному шашлычному застолию они время от времени все-таки дань отдавали. Иногда и Валерия, приехав, попадала на это заветное мероприятие, и оно ей полубилось едва ль не больше, чем все остальные.

Когда велешевский двор был обустроен и окультурен, хозяин пригласил Отроченкова “обмыть” все это и особенно беседку, поскольку и на сей раз, и в дальнейшем именно ее предполагалось использовать как основное место для “шашлычных бдений”.

— Дело святое, — без промедления дал согласие Отроченков. — А то она и двух месяцев не простоит — чего доброго, как Пизанская башня, начнет гнуться куда-нибудь в сторону. Я думаю, с той произошло так именно потому, что ее или плохо “обмыли”, или не “обмыли” совсем. Ведь все сотворенное человеком становится тоже как бы человеком — обзаводится душой и требует к себе соответствующего отношения. Люди, к сожалению, зачастую забывают об этом. Но уж только не мы с тобой.

В беседе ощущался смоляной аромат, и коньяк тут казался лучшим из лучших, а шашлык — наиотменнейшим.

— Замечаю, Паша... — длительно вздохнул Фадеич, — что погода твоя душевная частенько переходит с “ясно” на “пасмурно”.

— Пожалуй, так оно и есть. Только не подумай, что жалуясь.

— Не подумаю.

— Ты знаешь... Валерия... По-моему, она никак не может понять весь ма простые вещи...

— Мне кажется, тебе хочется ее переделать. Послушай-ка уж еще один совет грешного старца. Не пытайся ее переделать, брось эту глупость. Разве мужчине когда-нибудь удавалось переделать женщину? Те из нашего брата, кто рискнул попробовать свои силы на этом поприще, по большей части либо становились идиотами, либо вообще кончали с собой. А бывало, что и женщин убивали — тех самых, которых пытались переделать.

— Да мне уж иной раз думается, — с горечью усмехнулся Велешев, — что лучше сунуться в огонь, чем вверить душу красивой своевольной женщине. От огня сразу же почувствуешь ожог и отскочишь, а лукавое непостоянство привлекательной женщины может незаметно сжечь, поглотить тебя без остатка.

— Вот, вот. Это как раз в том случае, когда стараешься ее переделать. А в основном-то догла мы не сгораем. Все-таки что-то от нас да остается.

— Но сгоревшего неимоверно жалко.

— А ты не жалей. Пепел от нашего сожженного приносит женщине пользу. Возможно, благодаря этому пеплу она со временем становится осмыслительной, способной к созерцанию высокого, по-настоящему доброй и даже готовой на самопожертвование. То есть она сама переделывается.

— Может быть, ты и прав. Да ведь и у нас, наверное, не без пользы. На выгоревшем вырастает что-то новое.

— На выгоревшем вырастает мудрость, — сказал Отроченков.

Этот разговор происходил у них в начале лета. Потом встречались еще несколько раз, а перед осенью Велешев узнал совершенно случайно, что Отроченков лежит в кардиологическом отделении районной больницы с таким обострением ишемической болезни сердца, что состояние предынфарктное. Велешев, как говорится, ни сном ни духом не ведал, что у Фадеича ишемия, да еще зашедшая так далеко. И, оставив все свои дела на Веру Гавриловну, он сразу же ринулся в кардиологию. Там Велешев в первую очередь направил свои стопы в кабинет к Васильеву, заведующему отделением. Тот дал ему посмотреть результаты обследования Отроченкова, которые имелись на данный момент, и сказал:

— Сильно запустил. Инфаркт, оказывается, был уже, и перенес его Фадеич на ногах. Это ведь надо же — никогда не обращался. Кажется, один только раз. Сам врач, и такое отношение...

Велешев внимательно просмотрел электрокардиограммы, результаты анализов, поинтересовался, какие лекарственные средства назначены Отроченкову, и, поднявшись со стула, решительно опершись обеими руками о стол, сказал:

— Вот что, Игорь Евгеньевич. Давай-ка отвезу я его завтра в клинику к Болотину. Сосуды у Фадеича наверняка никудышные, а там придумаем что-либо понадежней. Не возражаешь?

— Господи, да если есть такая возможность... Обследуй хоть по-человечески. А тут... жить нельзя без слез. Вы же знаете, что даже УЗИ сердца у нас нет.

И Велешев прямо от Васильева позвонил на мобильный Болотину, договорился с ним. Потом направился в палату к Отроченкову.

— Ты чего это затаился тут? Сам же говорил: в одной телеге едем. Спрыгнуть, что ли, решил втихаря? Неделю уже лежишь, а я узнаю об этом от других людей.

— Да у тебя своих дел... — стыдливо как-то прикрываясь одеялом, улыбнулся Отроченков.

— Ну, вот и я с тобой тихой сапой. Утром будь готов — повезу тебя в клинику к Болотину.

— Не выдумывай! Мне тут хорошо. Потихоньку отлежусь.

— Решение не только мое, но и заведующего отделением. Не забудь захватить с собой здешнюю историю болезни. В семь утра буду тут.

— Паша, ты...

— Молчи, тебе сейчас нельзя болтать лишнего. И прости, что не успел купить апельсинов — явился без этого непременно атрибута посещения больных. Завтра по дороге куплю.

...В областной кардиологической клинике Отроченкова определили в двухместную палату, где имелись умывальная раковина, холодильник, шкаф для одежды, телевизор и даже передвижной столик на колесиках. Палата пустовала, Фадеич стал пока единственным ее обитателем.

— Ну-у... — глядя на Велешева, развел он руками. — В такой роскоши да не жить! Ладно, пособаритствуем тут за счет твоего авторитета.

Устроив его, Велешев вернулся в кабинет к Болотину и попросил:

— Сережа, пусть бы прямо сейчас глянули у него, а то ведь мне надо ехать.

— Что глянули? Ты о чем?

— Я о своем друге, которого привез — об Отроченкове. Сделать бы уж сразу коронарографию, чтобы мне было ясно, что к чему.

— Хм... — покачал головой Болотин. — Надо же — какой ты быстрый. Сам ведь знаешь, что существует очередность. Нужно собрать исходные данные.

— Да он же лежал в нашей районной кардиологии, все исходные мы привезли. Ручаюсь, что они надежные. И... послушай... — пронзил Велешев Болотина своим “волчьим” взглядом. — Думаю, что ты вряд ли стал бы медлить, если бы на его месте оказался я. И сейчас не медли, пожалуйста.

— Ну, ладно, ладно. Раскипятился.

Болотин набрал кого-то по мобильному телефону и сказал:

— Юрий Антонович, покорнейшая просьба. Больного Отроченкова из инфарктного отделения на коронарографию — срочно. Извините, что ломаю порядок, но... исключительная надобность. И когда сделаете, то сразу же дайте мне знать о результате.

Положив трубку, Болотин встал, походил немного по кабинету молча, потом сел опять и спросил:

— Что хоть за мужик-то этот твой невропатолог?

— Таких, как он, почти уже нет сейчас. Имею в виду, конечно, не только врачебные качества. Ты и он — ближе у меня никого нет.

— Ну, как же... — усмехнулся Болотин. — А Валерка-то?

— Вы друзья, а она подруга, — без улыбки посмотрел на него Велешев. — Разница есть?

— Наверное, есть, — опустил глаза Болотин.

И Велешеву отчего-то стало жалко его.

— Ну, ты как сейчас, Серега? — спросил он.

— Ты что имеешь в виду?

— Я имею в виду — в душевном плане.

— Да знаешь ли, Паша... Мне гораздо лучше, потому что многое стало для меня ясным. Например, стало ясно, что у нас сейчас два основных класса людей: одни пытаются обмануть, а другие хотят, чтобы их обманули. Есть, правда, в небольшом количестве и третий класс — те, кто не хочет обманывать и не желает быть обманутым. Но его, как правило, во внимание не принимают. Да и раньше так было. В России всегда одно и то же — и при монархах, и при генсеках, и при олигархах.

— А почему — как ты думаешь?



— Почему? Да потому что сами хороши. Потому что истинных своих врагов мы не хотим замечать. Нам бы только соседа извести да все, что осталось лучшего, испакостить. А теперь еще и другая беда: стало много людей, которые умеют понимать чужие мысли, но совсем не имеют своих.

— Да нам-то как же жить, — с горькой усмешкой спросил Велешев, — тем, кто обманывать не желает, обманутым быть не хочет, имеет свои мысли и пакостить не приучен?

— Ну, ты же сам однажды сказал мне: надо помнить, что небо видит все. Честно говоря, меня просто спасла эта твоя фраза. Я понял, что надо быть верным самому лучшему, самому высокому. А для этого надо уметь любить, для этого надо иметь чистое сердце и твердую волю. Нельзя жить с распяленным, расхристанным сердцем, нельзя жить без любви и верности, иначе однажды навсегда потеряешь себя в собственном хаосе.

— Я рад за тебя, — подошел и приобнял его Велешев. — По-моему, ты нашел верный стержень и крепко держишься за него.

— Ну-у, до полного порядка еще далеко.

— До него всегда будет далеко. А значит, сердце без дела не останется.

Велешев знал, что надлом у Болотина прошел. Однажды, приехав в город, он ночевал у Болотинных, поскольку Валерия была в командировке, и Нина, удлучив момент, шепнула ему:

— Замечаешь, как Сережа изменился? Совсем другой стал после того разговора с тобой. О льдине больше не вспоминает, и мы теперь ходим в церковь. Господи, такая благодать... Я тебе так благодарна, Пашенька...

— Да брось ты приписывать мне чудодейственную силу, — отмахнулся Велешев. — В нем в самом силы на троих хватит. Я же говорил тебе, что расставит в себе все по местам, со всем справится.

И теперь Велешев лишний раз убеждался в правоте своих слов.

Наконец Болотину позвонили по поводу результатов коронарографии, проведенной Отроченкову, и, молча выслушав хирурга, положив трубку, Сергей Акимович сказал:

— Дело у него не ахти, но вполне поправимо. Надо стентировать.

— Сколько сосудов?

— Два.

— Надеюсь, уж тянуть-то с этим не будете?

— Да где уж тут тянуть, — усмехнулся Болотин, — если такой погоняльщик приехал. Один стент я дам. А за второй надо платить.

— А если кому-нибудь нужен и третий?

— И за третий надо платить. Что ж поделаешь, если так оно теперь...

— А из суммы тех взяток, которые ты берешь на нужды клиники, нельзя оплатить второй стент для Отроченкова? — с хитрым прищуром глянул на приятеля Велешев.

— Я, Паша, — вздохнув, опустил тот глаза, — взятку больше не беру.

— Это почему же?

— Потому что грех.

— Ну и зря. У толстосумов, бандюг да разных прохиндеев брал бы с чистой совестью и тратил на таких, как мой Фадеич, продлевал бы жизнь бедным, но хорошим людям.

— Нет, не хочу больше брать ни у кого. Противно.

— В общем-то, конечно, эта манна не для нас, — согласился Велешев. — Уж лучше кланчить, уповая на общественную пользу. Ну и сколько же сейчас стоит стент?

— Шестьдесят четыре тысячи. Слушай, ты навдайся в облздрав. Отроченков врач, должны помочь.

— Я у них уже и без того выклянчил все, что можно, и все, что нельзя. Стоп! Спокойно делайте Фадеичу стентирование, а я завтра же переведу на ваш счет эти шестьдесят четыре тысячи.

— Ты что, — усмехнулся Болотин, — моментально разбогател?

— Именно так. Мне помог один добрый человек, а от этой помощи как раз осталось... Нет, ты только представь, — ударив себя ладонями по коленям, рассмеялся вдруг Велешев, — осталось как раз шестьдесят четыре тысячи!

Это был остаток от тех денег, которые, уезжая, навязал Велешеву Олег Малояров.

— Ну, в таком случае — что ж... — опять встал и заходил по кабинету Бологин. — Пообследуем его в полном объеме и сделаем все, что нужно — не беспокойся. Слушай, может, останешься, переночуешь у нас втихаря от Валерки? Хоть бы наговорились с тобой досыта. Есть о чем поговорить.

— Нет, брат, надо ехать. У меня тут водитель, служебная машина, а в больнице полно срочных дел. К Валерии даже не сумею заскочить, только позвоно, что привез в клинику Фадеича. Она его знает — обязательно навестит.

...Когда Велешев вошел в палату к Отроченкову, тот смиренно лежал под одеялом, “привязанный” к капельнице.

— До чего же дошло медицинское варварство, — сказал Фадеич. — Через паховую артерию просунуть проволоку аж к самому сердцу человека и лазить там этой проволокой, высматривать все, как через прибор ночного видения. А теперь вот придется целые сутки лежать с выгнутой ногой, и тампон давит на пах так, словно это вовсе не тампон, а булыжник.

— Это еще только цветочки, — “успокоил” его Велешев. — А потом точно так же, через паховую артерию, вгонят тебе в два сердечных сосуда пружины.

— А это еще зачем?

— Чтобы сердце лучше прыгало. У тебя два сосуда почти уже непроходимые. Представь себе трубу, к примеру, отвод от кухонной раковины, и представь, что вся эта труба засалена внутри, засорена и вода кое-как проходит через небольшую оставшуюся дырочку. Приблизительно в таком состоянии эти твои сосуды. Так вот — почистят их тебе и вгонят в них стенты — нечто вроде пружинки, которые будут препятствовать сужению сосудов. И как же тебе, врачу, не стыдно называть эту своевременную помощь твоему измученному любовными похождениями сердцу медицинским варварством?

— Проняло, Пал Андреич. Я уже начал гореть от стыда, особенно пах.

— Ладно, Фадеич, я поехал. Буду звонить тебе на мобильный, а выкроится время — прикажу. Думаю, задержат тебя тут не слишком надолго.

И едва только Велешев произнес эти слова, как в дверь постучали, и в палату неловко протиснулась обремененная двумя, судя по всему, нелегкими сумками женщина весьма приятного вида. Она была выше среднего роста, стройна, примерно того же возраста, что и Валерия, может, даже несколько моложе. Одежда на ней говорила о хорошем вкусе ее обладательницы, а густые каштановые волосы до плеч, несколько крупноватое, дышащее свежестью лицо, большие карие глаза и высокая грудь — все это напоминало в ней ту простую, располагающую к себе красоту, которой столь богата была в свое время итальянская актриса Софи Лорен.

— Здравствуйте, — с некоторым смущением произнесла женщина.

— Ба, — от удивления расширив глаза, сказал Отроченков, — какими судьбами?

— Ничего глупее и отвратительнее этого, — устало посмотрела она на него, — я от тебя не слышала. Извините, — повернулась женщина к Велешеву. — Вы, как я догадываюсь, Павел Андреевич?

— Правильно догадались, — ответил он.

— А это Людмила Никитична к нам пожаловала... — нараспев сообщил Отроченков. Он пытался казаться невозмутимым, но все-таки заметно было, что растерян. — Она некоторым образом...

— Ага, — перебив его и повернувшись к Велешеву, выразительно кивнула женщина, — некоторым образом знакомая Аркадия Фадеевича. Или незаконная Аркадия Фадеевича. Или гражданская, как нынче говорят. Словом, из тех, которые недостойны знать о том, что Аркадий Фадеевич заболел и лежит в больнице.

Она присела на краешек кровати у его ног, тяжело вздохнула, глядя ему в глаза, и спросила прерывистым голосом:

— Что же это ты так, а? Почему я должна разыскивать тебя и гнаться

за тобой по пятам? Неужели нельзя было позвонить, предупредить хоть как-нибудь, что тебе плохо и ты ложишься в кардиологию?

И она заплакала, закрыв лицо ладонями. Плакала молча — стараясь подавлять всхлипы, вздрагивала всей спиной.

— Не надо, Люда, — пытался дотянуться свободной рукой до ее плеча Отроченков. — Прости Христа ради — я виноват. Не хотелось обременять, доставлять тебе лишних забот. Думал — обойдусь как-нибудь потихоньку.

— Ты, кстати, передо мной еще не извинился, — сказал Велешев.

Ему неудобно было уходить в такой момент, и он стоял у окна, глядя на вершины деревьев больничного сквера, которые качались за стеклами совсем неподалеку от него.

— Простите меня, ребята, — глухо бубнил Отроченков. — Честное слово, только сейчас вот дошло до самых пяток, что стремление лишить близких людей сведений о своих бедах — не что иное, как преступный эгоизм.

Людмила наконец успокоилась и, кое-как вытерев слезы, обратилась к Велешеву:

— Павел Андреевич, он ведь все равно ничего мне толком не скажет. Скажите хоть вы: что у него?

— Коронар... Проще говоря, сердечные сосуды не совсем в порядке.

— Это очень опасно?

— Конечно, опасность есть. Но здесь попытаются сделать все, чтобы устранить ее. Я уверен — все будет хорошо, Людмила Никитична.

— Да просто Людмила, Люда. Спасибо Вам, Павел Андреевич.

— И вам тоже.

— Ты надолго приехала? — отважился спросить Отроченков.

— Я взяла отпуск, — ответила Людмила. — И домой вернусь только вместе с тобой.

— Отлично, — сказал Велешев. — Устраивайтесь тут. Вставать ему пока нельзя, так что ваша помощь будет как раз кстати. Я думаю, вам разрешат ночевать в палате. Во всяком случае, попрошу об этом начальство.

В глазах у Людмилы опять засверкали слезы. Она порывисто, неуклюже даже как-то подошла к Велешеву и поцеловала его в щеку.

Пробыл Отроченков в клинике две с половиной недели. Коронарное стентирование было проведено удачно. После операции Фадеичу была установлена группа инвалидности, однако бросать работу он не захотел, чему в районной больнице все, от главврача до младшего медперсонала, были очень рады.

И произошло в жизни Отроченкова еще одно важное событие. Он перестал быть для Людмилы “приходящим”. Они расписались в загсе, а потом Фадеич предложил Людмиле обвенчаться. Расписаться на земле одно, сказал он ей, а надо, чтобы все было оформлено и на небе. Она с восторгом согласилась, и во время венчания Велешев был у них свидетелем. И стали они жить вместе. Ни на “пересол” в отношении Людмилы к нему, ни на “недосол” Отроченков пока не жаловался — выглядел как человек, вкушающий пищу, которая ему вполне по вкусу.

В больнице у Велешева все шло вроде бы своим чередом. Медсестра Саша Купавина по-прежнему любила его и, хотя больше не говорила ему об этом, но всем своим видом давала понять: люблю и буду любить, и никто мне не запретит. И Велешев привык к ее сердечной привязанности, к ее душевному теплу, которое постоянно оевало его. Не раз он ловил себя на том, что когда Саши нет в больнице, то и в душе как-то не так — неуверенность какая-то, что ли... И больничные все привыкли к Сашиной молчаливой любви, более того — одобряли ее. Это хорошо, считали они, что Саша так упорно его любит. Та, городская-то, лишь отдохнуть к нему сюда ездит, а постоянно жить с ним тут — пиша с два. Вот умучает, измочалит она его окончательно, а Саша тут как тут. Измочаленный, он сразу поймет, какая она — настоящая-то женская любовь. Сразу дойдет до него, что лучше Саши в жены ему никого не найти.

Совершенно неожиданно образовались у Велешева в Поречье дружеские отношения с одним весьма интересным человеком. Это был различных стро-

ительных дел мастер — из тех, которые привели в порядок малояровский дом и у Велешева двор обустроили. Годами немного моложе Велешева, мужик этот обладал довольно редким сочетанием имени и фамилии. Его звали Василий Котофеев. Мало того — он и обличем своим напоминал спокойного и мудрого кота. А посему звали его в Поречье все от мала до велика чаще всего просто Котофеем, и он на это ничуть не обижался.

Впервые особое внимание Велешева Котофей привлек к себе, когда рассказывал мужикам, с которыми работал, как после похорон его отца снохи, то есть жены двоих братьев Василия, искали в доме, что бы такое взять с собой в память о свекре.

— Приехали они из разных городов, — рассказывал Котофей, — ну и, значит, когда помянули мы отца, снохи вошли в интерес: дескать, что бы нам такое на память об отце с собой... нашли в чулане шубу овчинную, которой, я уж и не помню, сколько лет — отец в ней всю жизнь на рыбалку ходил. И вот одна из снох решила взять эту шубу. А другая позавидовала: я мол, первая ее тут заметила — я и возьму. А время-то было такое — дубленки тогда только-только в моду входили. Многие в полушубках щеголяли, которые трактористам на зиму давали, геологам там разным. Ну и снохи, видать, решили, что из отцовской шубы, если перекроить ее да хорошим материалом покрыть, вполне может выйти что-либо “в ногу со временем”. Раскраснелись, разлохматились, взъярились, как ведьмы, — тянут шубу каждая к себе. Смотрел я на них, смотрел — да и говорю: “Спокойно, бабы, спокойно! Сейчас мы все как полагается поделим”. Беру у них шубу, они мне ее отдают с полным доверием, смотрят на меня с большой надеждой. А в чулане, тут же, рядом, чурбак стоит для разрубания мяса, и топор на нем лежит. Хватаю я топор и четко отрубая у шубы сначала один рукав, потом второй... “Ну, — говорю, — лахудры, вот вам в память об отце — каждой по муфте. А остальное я ребятишкам в школу отнесу. Они там всякие пьесы-постановки на сцене представляют, а эту овчину вывернут мехом вверх и будут медведя изображать”.

— Ну, а бабы что же? — поинтересовались мужики.

— “Муфты” они, конечно, не взяли. И с той поры — сколько уж лет прошло — не приезжали ни разу. Братья, мужья их, приезжают изредка. Но вроде как-то все дуются, держат на меня обиду. А в школе ребятишки были довольны этой безрукавной шубой выше крыши. Говорят, и сейчас еще жива в школе эта шуба.

Когда Велешев расплачивался с мужиками, Котофей, уловив момент, сказал ему:

— У тебя, Андреич, гляжу, руки-то до своих домашних дел совсем не доходят. Цветы вон прополоть бы нужно, порыхлить. Ты — когда чего надо — звони мне. У меня карманный телефон есть. Я приду и все сделаю. Не подумай, что за плату. Я задаром тебе что угодно сделаю — мне просто радостно будет.

— Да ведь у тебя тоже, наверно, времени нет.

— Есть. Я на все нахожу время. Ты людей жалеешь — лечишь их. И мне тебя жалко.

И с той поры Котофей стал постоянным помощником Велешева. Водопроводный ли кран выходил из строя, траву ли во дворе и на огороде, вымахавшую чуть не до пояса, покосить требовалось, Велешев звонил Василию, и тот все исправлял, надежно приводил в порядок. Общение с ним доставляло Велешеву большое удовольствие.

Сугубо свое и весьма строгое было у Котофея мнение о женщинах.

— Женщина нынче, — говорил он, — пошла свободная и самовольная. От такой свободы женщины гибель Отечеству. Кое-где, конечно, еще имеются хорошие жены. Но многие так насобачились расправляться со своими мужьями, напрактиковались гнуть свою линию так, чтоб только им было хорошо да дети ублажались на полную катушку. Подобная жена никогда не поставит мужа вровень с детьми. Даже если сынок или дочка на шею ей петлю накинут, все равно они для нее будут дороже, чем муж. Такие жены раз-ве тебе воспитают в ребенке что-либо путное? Они прямые создатели куль-

та личности детишек. А от культа личности известно что — растут сотни и тысячи деспотов. Да что тут говорить... Голая трагедия общества.

С Валерией у Котофея отношения сложились весьма теплые. Она любила вести с ним беседы на разные темы — для нее это было чем-то вроде забавы. Он охотно отвечал на ее неожиданные, иногда весьма туманные вопросы.

— Василий Матвеевич, а как, по-вашему, надо относиться к человеку?

— Человека, Валерия Сергеевна, терпеть надо всегда.

— Но ведь есть такие, которых терпеть невозможно. Порой неурядица какая-нибудь, муторно, печально, а человек видит это да еще всячески старается умножить твою печаль.

— Кто умножает чужие печали, тот умножает свою будущую печаль.

— И что же?

— Опять же терпеть. А наказание к нему потом само придет.

— Ах, какие вы все убежденные терпеливцы!

Однажды Валерия решила узнать у Котофея, какого он мнения о ней.

— У вас, Василий Матвеевич, на все свои особые взгляды, и о людях вы судите необычно. И мне очень интересно...

— Что вам интересно?

— Ну... к примеру, вот обо мне что вы думаете?

— Вам обязательно надо знать?

— Если вас не затруднит, то я не прочь бы услышать ваше мнение.

— Да что ж тут затрудниться? Вы, Валерия Сергеевна, человек летательного характера.

— Хотите сказать, что мой характер летает?

— Точно так. Возносится и мечется.

— Хм, летательный характер... Так я не пойму — это хороший характер или плохой?

— Опасный. И для себя опасный, и для других.

Валерия хмыкнула опять, внимательно посмотрела на Котофея и не стала больше ничего уточнять — задумалась, кажется, всерьез.

Хотя и смехотворным, однако все же и удивительным фактом явилось то, что кот Федор проникся к Василию Котоевеву особым доверием. Если кот приходил откуда-нибудь из своих тайных мест и заставал рядом с хозяином Василия, то в первую очередь терся о его ноги, а когда тот сидел, то обязательно вспрыгивал ему на колени.

— Слушай, — с шутливой обидой сказал однажды Велешев, — да он при тебе меня совсем не признает.

— Но мы же с ним Котофеи, — почесывая Федору шею, с улыбкой отвечал Василий. — А свой свояка видит издалека.

Но потом Велешев, кажется, понял причину особого расположения Федора к так называемому свояку. Наверное, кот носил в себе если не обиду, то нечто вроде презрения к хозяину, который все чаще уезжает куда-то, а ему, Федору, приходится бродить вокруг пустого дома, обитать где попало и ждать, когда Антонина или Котофей придут, впустят в дом и дадут чего-нибудь поесть. И, устраиваясь при нем, Велешеве, у Василия на коленях, кот словно бы демонстрировал свою независимость от хозяина. Дескать, обходился тут без тебя и еще обойдусь — слава Богу, есть на кого положиться.

И похожий на черную обезьяну старый пес Амфибрахий тоже, наверное, несколько охладел к Велешеву — стал приходиться под окна дома гораздо реже. Когда Велешев уезжал, Амфибрахий, видно, сидел под окнами понапрасну одно утро, другое, а потом, быть может, решил, что не очень-то он тут и нужен. Пес заметно сдал, и когда иной раз все-таки шел за Велешевым на прогулку, то, ковыляя, еле-еле тащился — жалко было на него смотреть. Велешев останавливался, гладил собаку по кудрявой голове и говорил:

— Постарел ты, брат. Может, уж не стоило бы ходить-то со мной, отдохнул бы лучше. Прости уж меня, если что не так.

Амфибрахий толкал головой его руку — дескать, погладь еще, а то и пожалеть-то меня больше некому.

Нет-нет да и вспоминал Велешев о том музыкальном вечере, на котором так удивительно пела Лидочка Возницына, она же Лия Бережная, вспоми-

нал с теплой усмешкой и о своем знакомом незнакомце. Иной раз, когда Валерия тащила его в концертный зал на какую-либо столичную знаменитость, он спрашивал:

— А концерта Лидочки Возницыной нигде нет? Я бы с удовольствием еще раз послушал ее прекрасный голос.

— Да что-то не слышать о ее концертах, — с едва заметным холодком отвечала Валерия. — Может, и поет где-нибудь для работников здравоохранения или железнодорожников. Или колесит по каким-либо городам и весям с концертами нашей филармонии.

— Жаль, если так. С ее голосом и музыкальным талантом только в лучших концертных залах страны петь.

— Особая раскрутка нужна, — пожимала плечами Валерия, — которая стоит больших денег.

— Как услышу о таких вещах, — морщился Велешев, — тошно становится.

— Оно и понятно, — стараясь глядеть в сторону, отвечала Валерия.

И вдруг не так давно Велешев столкнулся с Лидочкой лицом к лицу на центральной улице города.

— Павел Андреевич, дорогой... — обняла она его, расцеловала по-родственному. — А мы ведь только недавно вспоминали о вас.

— С кем же это?

— Да с вашим знакомым незнакомцем, — лукаво улыбнулась Лидия. — Он мой давний друг.

— Вон оно что... Оказывается, помнит... И ты сказала, кто я, выдала меня?

— Чуть было не выдала, Павел Андреевич. Когда он обрисовал мне вашу внешность и рассказал о вашем с ним "незнакомстве" на банкете, я едва не сболтнула, кто вы такой. Но он меня остановил — объяснил, что между вами договор заключен до поры до времени.

— Да, есть такой договор.

— Он только спросил, почему это вас нигде не видно, а я ответила, что вы в городе не живете. И он заинтересовался вами еще больше. Сказал, что не прочь бы увидеться — на сей раз, чтобы познакомиться как следует.

— Что же, я не против. Только вот бываю тут налетом...

— А можно мы с ним приедем к вам? Как-нибудь весной или летом... Хотя бы ненадолго, чтоб не обременить вас. И на стол все с собой привезем. Ой... — прикрыла вдруг себе губы кончиками пальцев Лидия. — Пожалуйста, простите, что так нагло напрашиваюсь.

— Да приезжайте ради Бога, — рассмеялся Велешев. — И на стол ничего не надо везти — неужели думаете, что я сам вас угостить как следует не смогу? Кстати, я по моему незнакомцу, вспоминая о нем, душевно скучаю иногда. А уж тебе-то невероятно буду рад. А здесь... в самом деле... Приезжаю ненадолго, спешу, и от курса отклониться весьма трудно.

## Глава тридцать четвертая

Надвигалась зима, все холоднее становилось в природе, и от Валерии по отношению к Велешеву все чувствительнее сквозило холодком. Звонить ему она стала редко, по большей части он звонил ей, и уже не веяло от ее интонаций и слов теплом и доверительностью, как это было раньше, не смеялась она прежним заразительно звенящим смехом. Говорила с Велешевым теперь словно бы вынужденно, будто сильно спешила куда-то или оторвалась от дела, которое не терпит отлагательства.

Причину этого ее охлаждения Велешев пытался искать в себе — перебрал в памяти все те моменты, когда мог чем-нибудь больно задеть, обидеть Валерию, но ничего подобного не находил и терялся в догадках: в чем же дело, почему? Мысль, что у нее мог появиться кто-то другой, он гнал от себя — Валерия, уж наверное, как-нибудь дала бы понять это или сказала бы напрямую и перестала звонить вообще. Однажды он не выдержал и спросил:

— Валера, я тебя обидел чем-нибудь?

— Да нет. Откуда ты взял?

— Дело в том... По-моему, ты стала другая по отношению ко мне. Если надоел, то так и скажи — я тебя обременять не буду.

— Откуда ты взял?! — взорвалась она. — У меня дел по горло, я зашиваюсь, а он выдумывает Бог знает что! Тебе, дорогой доктор, подлечиться бы надо от своей мнительности!

И бросила трубку.

Но на другой же день позвонила как ни в чем не бывало и стала расспрашивать о том, как у него идут дела, справилась об Антонине, спросила, как чувствует себя Фадеич, передала привет Котофею и даже коту Федору. И легко прозвучало из ее уст нечто вроде извинения: дескать, заматываюсь в делах, иной раз нервы не держат, так что уж не принимай близко к сердцу, если я разговариваю с тобой, будто на бегу. Опять, как прежде, веяло от нее через расстояние теплом и доверительностью, и Велешев потом работал со спокойным сердцем, с тихой радостью, ночью спал хорошо. “Может, действительно я становлюсь мнительным?” — удивляясь самому себе, думал он.

Но через некоторое время опять повеяло от Валерии тем же холодком, и теперь он уже вполне определенно чувствовал, что дело тут вовсе не в его мнительности. В середине декабря он поехал в областной центр — надо было решить кое-какие вопросы, связанные со службой, но по большей части им двигало желание увидеть Валерию, посмотреть ей в глаза. Велешев очень соскучился по ней, хотя и старался не признаваться себе в этом.

Вечером за ужином, который сдабривался хорошим вином, Велешев, внимательно посмотрев Валерии в глаза, произнес:

— По-моему, ты с головой утонула в делах. Не перегрузишься?

— Мне сейчас нельзя обращать внимание на перегрузки. Начинаю новое, очень важное дело.

— Какое же, если не секрет?

— Ну... тебе я могу сказать. Получила предложение вести очень сложную пиар-кампанию.

— “Очень важное дело”, — усмехнулся Велешев, — “очень сложная пиар-кампания”... Я, кстати, плохо представляю себе, что это такое. Объясни как-нибудь поточней и попроще.

— Проще говоря... весной будут выборы мэра города. Ну и... один из кандидатов предложил мне возглавить его предвыборный штаб.

— Но ведь это, наверное, займет месяцы. А как же твое рекламное агентство? Или вы все будете работать на этого кандидата?

— Нет. Агентство я пока оставлю на Беклешина, а для работы со мной в штабе наметила других людей.

— Хм... И какую же выгоду тебе это сулит?

— Во-первых, я на этом очень хорошо заработаю... — щеки у Валерии порозовели — то ли от вина, то ли от азарта. — А во-вторых... если я приведу его к власти, то мне будет обеспечена должность в городской администрации.

— Вон даже как... — покачал головой Велешев. — И что же за должность? Наверно, и это уже оговорено?

— Конечно. Я буду отвечать за связи с общественными организациями и средствами массовой информации.

— Да зачем это тебе? Есть же у тебя работа, которую, как я понял, ты любишь и выполняешь мастерски. Если это есть, что еще-то нужно человеку?

— Господи, какой же ты, в самом деле, непроходимый... Неужели не ясно, что сегодня главное для человека — карьерный рост. Он не нужен, наверно, только тебе одному. Я карьеру сделать стараюсь — понимаешь? Зарплата у меня там будет раза в два побольше, чем сейчас. И положение, новые возможности... Ну, неужели не понятно?

— Понятно. Деньги, власть. Мне довелось знать многих, кто стремился к власти, кто был во власти. А ты... боюсь, что плохо себе это представляешь...

— Почему это я плохо представляю? Мне тоже нередко приходится вращаться среди представителей властных структур. Вижу, что живут люди, ничего страшного.

— Вот то-то и плохо, что не видишь страшного. Сейчас ты относительно свободный человек, сама себе хозяйка. А там... Там ведь ломают, да еще как. Можешь потерять себя.

— С какой стати мне себя терять? Отлично знаю, что я хороший организатор и вполне могу освоить такое широкое поле деятельности.

— Там не широкое поле, а узкий коридор. Но вижу, что говорить тебе сейчас об этом абсолютно бесполезно. И кто же такой этот твой кандидат?

— Секирский Владислав Авдеевич. Успешный предприниматель, умный, энергичный человек. Может, слышал? Его имя на слуху.

— Слышал. Говорят, что в городе, да и в области тоже, у него немалые владения. Слышал насчет его сомнительного прошлого.

— Да вранье это — насчет сомнительного прошлого. Я знаю его биографию. Доходят в вашу районную глухомань какие-то idiotские слухи.

— Какие уж есть, — усмехнулся Велешев. — Что ж... — вздохнул он. — Бог тебе в помощь. Но мне за тебя боязно.

Простились они так же тепло, как и встретились. Однако Велешев все же почувствовал, что едва уловимо повеяло от Валерии сдержанным нетерпением, которое проявляется у человека, окунувшегося в кипучую деятельность в тот момент, когда его кто-нибудь отвлекает.

## Глава тридцать пятая

...Боделось Велешеву очень тяжело, поскольку телесная хворь совпала с душевной. Он по телефону попросил Веру Гавриловну прислать кого-нибудь из сестер, чтобы поставили ему банки, и пришла Саша. Она точными, до автоматизма отработанными движениями улепила спину Велешева банками и присела рядом на стул. Велешев скопил на нее глаза и сказал:

— Не смотри на меня. Сильно простыл — такое ощущение, что даже душа простужена.

— Павел Андреевич, дорогой вы мой! — с несколько насмешливой жалостью произнесла Саша. — И на каких же это ветрах вас так беспощадно просифонило?

— На ветрах жизни, Сашенька.

— Да, ветра-то, похоже, дули на вас штормовые.

— Ну... шторм — не шторм, а надо вставать на ноги.

— Вы хоть поели что-нибудь за день?

— Да так, что-то там... В основном пью чай.

— Тогда разрешите, я у вас немного похозяйничаю. Принесла свежего мяса — сварю сейчас бульон.

— Это хорошо бы.

Саша напоила его крепким горячим бульоном, заставила съесть несколько кусочков мяса. И на другой день он чувствовал себя уже значительно лучше. Однако сдавал свои позиции лишь телесный недуг, а душевная боль, казалось, наоборот, становится все острее. Кот Федор то ли чувствовал это, то ли сильно соскучился по хозяину — почти все время лежал рядом, привалившись к его бедру.

Приходила и сестра Антонина. Готовила ему еду, мыла полы, протирала все кругом — освежала комнаты. Она — родная кровь — сразу почувствовала, что простуда — простудой, а еще и на душе у брата неладно, и он изо всех сил старается не показать этого.

— Как хоть съездил-то? — не выдержав, спросила Антонина.

— Да видишь вот — простудился весь.

— Вижу, что захолодал до самого некуда. Чую, что с Валерией Сергеевной у вас какие-то большие нелады. Ты прости, что я лезу, но душа за тебя изболелась вся.

— Да, нелады имеются, — вынужден был признаться Велешев.



— Давно уж замечаю, что ты сам не свой. И раньше ведь говорила тебе, что может получиться “ни два ни полтора”. Конечно, Валерия Сергеевна интересная, видная женщина. Веселая. Но... Она сама как игрушка, и жизнь для нее тоже, видать, как игрушка... Не смотри на меня так — я же сказала, что душа за тебя болит. Смотрел бы лучше как следует на человека, который банки тебе ставит.

— Я смотрю как следует.

— Эх, Паша ты Паша... Столько всего добился, а это... Моя семейная жизнь похожа Бог знает на что, и у тебя никак толком не клеится. Да почему же мы в этом такие несчастные-то?

Василий Котофеев тоже пришел навестить Велешева — принес клоквы. Поговорили о том о сем и замолчали, задумались оба.

— О чем думаешь, Василий Матвеевич? — первым заговорил Велешев.

— Да о людях я думаю, — очнулся тот. — В последнее время что-то все больше думается о людях.

— И что же ты о них думаешь?

— Самые лучшие страдают больше всех.

— Всегда так было, — сказал Велешев. — И во все времена лучшие люди гибли по вине худших.

— Да, видать, всегда так было... — вздохнул Котофей. — Но нынче почти каждому хочется занять все и сразу. От этого лучших гибнет много, большой разор идет. По-моему, заполучить сразу богатую и красивую жизнь — большая глупость. Не понимают, что самое ценное на свете созревает медленно, а быстро образуется только никудышное. Все, что быстро образовалось — и живет недолго, и в памяти не оставляет ничего. Как ночная бабочка, к примеру.

От простудной болезни Велешев оправился только к Рождеству. И в рождественскую ночь он пошел в церковь. Народу в церкви было немного, хор пел на редкость хорошо, и Велешев стоял, понемногу проникаясь благодатью церковной атмосферы. Он вспомнил, как они с Валерией стояли в церкви, когда она приезжала после кончины Анны Тимофеевны. И подумалось, что тогда — и в церкви, и после нее — им было так хорошо, как, пожалуй, не было никогда за все время их отношений. Валерия определила это своим обычным словом “здорово”, а ведь и ее, и его душу наполняло тогда что-то поистине удивительное. Это была любовь, но какая-то совершенно особая — очищающая и возвышающая. “Была ведь...” — словно сделав очень важное открытие, поразился Велешев.

И он вдруг понял, что любовь может быть настоящей только тогда, когда она хранит в себе искру именно такой вот — духовной любви. А иначе это всего лишь влюбленность, которая не принесет счастья, которая лишает разума, опьяняет, как вино, или подобна болезни, обрекающей на тяжелые мучения. “Господи, — думал Велешев, — какой же злой ветер загасил в нас эту спасительную искорку? Помоги вернуть ее, чтобы она разгорелась в полную силу...”

Когда служба закончилась, к нему подходили люди, тепло поздравляли с Рождеством Христовым, и он их тоже поздравлял. Возвращаясь под утро домой, Велешев чувствовал, что душевная боль приутихла — надолго, нет ли, но сменило ее теплое умиротворение. Нет, размышлял он, без церкви нельзя. Без нее настолько грязнешь в суете, в своих тяготах и заботах, что совсем забываешь о Боге. Вспоминаешь о нем только тогда, когда прижмет тебя жизнь как следует, когда в душевном несчастье некуда податься, негде искать помощи. Вот тогда-то возопишь всем своим существом: “Помоги, Господи! Прости, Господи! Спаси, Господи!” Нет, нельзя верить без церкви. Она помогает помнить о Боге постоянно и освещает совестью каждый свой поступок. И люди... По большей части простые бедные люди окружают тебя там, и как тепло сердцу среди них... И в этом единении верующих такая спасительная сила...

После болезни Велешев с облегчением окунулся в работу, и через неделю-другую начали все замечать, что он стал каким-то другим — словно бы притих, обособился, ушел в себя. Люди, работающие рядом с ним годами и

успевшие неплохо изучить его, видимо, сумели почувствовать то, что он таил в душе, и Велешев нет-нет да и ощущал на себе взгляды, в которых сквозила жалость. Это раздражало, но он терпел — не скажешь же человеку, что он смотрит на тебя не так.

Иногда ему казалось, что случившееся — всего лишь досадное недоразумение, какая-нибудь сушая чепуха. Вот позвонит Валерия или придет внезапно — и выяснится, что нагородил сам себе горы несусветной чуши. Порой ему очень хотелось открыться кому-нибудь, рассказать об своей мучительной неурядице, но Велешев продолжал носить все в себе. “У каждого своей боли через край”, — думал он. Котофей, однако, наверно, что-то почуял и однажды отважился заметить:

— Сдается мне, Павел Андреевич, что ты как-то вроде посутулел малость. Валерия Сергеевна что-то долго к нам глаз не кажет...

— Скорее всего, — открылся вдруг Велешев, — больше уж и не покажет. У нас с ней, Василий, похоже, все закончилось. А если заметно, что я посутулел, то это плохо.

Потом он открылся Отроченкову — в деталях рассказал обо всем, что произошло. Не умолчал и о том, что Валерия теперь возглавляет предвыборный штаб Владислава Секирского — кандидата в главы областного города.

— Хм... — озабоченно усмехнулся Фадеч. — Сильно закружилась. Слышал я про Секирского — вчера был разговор. Вынырнул, говорят, из Астрахани — контрабандой осетровых деликатесов когда-то занимался. Икра и прочее. Привлекался вроде бы не раз, но уж очень ловок. Я бы, может, и не поверил — мало ли какой грязью поливают друг друга эти кандидаты. Но как тут не поверишь — не кто иной, как наш районный прокурор просветил. На иголки ко мне ездит — подлечиваю его от бессонницы.

— Откровенно говоря, — мрачно глядя в сторону, ответил Велешев, — меня этот Секирский абсолютно не интересует. Какие типы нынче рвутся во власть, нам с тобой хорошо известно.

— Ну, а Валерия Сергеевна что ж... — пожал плечами Отроченков. — Да, похоже, сильно закружилась. Бывает. Человек не может видеть всего, что творят с ним темные силы. И хорошо, что Господь не дал ему такой возможности, иначе просто-напросто умер бы человек от ужаса.

— Это все, что ты можешь сказать?

— А ты ожидал, что я судить ее возьмусь? Придет время — опомнится.

Хоть и сказал Велешев, что Секирский его абсолютно не интересует, однако все же отнюдь не краем глаза следил по телевидению за предвыборной суматохой в областном центре. Кандидатов на пост мэра выдвинулось пятеро, но у троих, в том числе и у действующего главы города, шансы были небольшие. Основная борьба разгоралась между Секирским и другим крупным предпринимателем — Алявдиным. Алявдин был известен своей благотворительной деятельностью — устройством в городских дворах детских игровых площадок.

Велешев видел Секирского по телевидению и оценил его вполне объективно. Лет тридцати пяти, он был высок, строен, спортивен. Очерченное правильно, с некоторой суровостью лицо, спокойные, несколько холодноватые глаза, выразительные упрямые губы и волевой подбородок с ямочкой посередке. “Суперменский типаж, в духе времени, — сделал заключение Велешев. — Такой вполне может выиграть”.

Мелькнула в одной из предвыборных телепередач и Валерия — красивая, жизнерадостная, вдохновенная даже вся какая-то. У Велешева тонко защемило в груди, и весь вечер он не находил себе места — то неподвижно сидел в кресле, то вскакивал и начинал порывисто шагать по комнате, обхватив предплечья ладонями. А потом не спал почти всю ночь.

Неопределенность и неясность в конце концов измучили Велешева так, что он решил четко определиться. И за день до праздника 8 Марта поехал в областной центр. У него было дело к Болотину — предполагалось заполучить с помощью Сергея новую аппаратуру для больницы, и он твердо решил встретиться с Валерией. “Куплю цветы, — планировал Велешев, — поздравлю ее с наступающим женским праздником и, спокойно глядя ей в глаза,

спрошу, сохранилось у нее ко мне хоть что-то от прежних отношений, или я могу считать себя свободным”.

Болотин встретил его с радостью, как всегда, потом с непонятной Велешеву настороженностью оглядел его с головы до ног. Они быстро договорились насчет аппаратуры, и Велешев заметил, что Сергей опять как-то настороженно, то ли озабоченно смотрит на него.

— Ты чего так смотришь? — спросил Велешев.

— Унываешь? — ответил вопросом на вопрос Болотин.

— С чего это мне унывать?

— Да видно же ведь, какой ты встрепанный.

— И с чего это мне быть встрепанным?

— Ну... Валерка-то...

— Что Валерия? Выборы, что ли? Да я знаю.

— Все знаешь?

— Ну, во все-то ваши выборные перипетии я не могу вникнуть — это вам тут видней.

— Похоже, что не знаешь... — тяжело вздохнул Болотин.

Он поднялся из-за письменного стола и с минуты прохаживался по кабинету. Велешев выжидательно смотрел на него.

— Пусть лучше от меня узнаешь, чем от кого-нибудь еще, — остановившись перед ним и глядя себе под ноги, сказал Болотин. — Она, Паша, связана с Секирским не только выборами.

— Да брось ты, — Велешев перевел взгляд тоже себе под ноги. — Кто-нибудь их в постели, что ли, вместе видел?

— Ты ведь прекрасно знаешь — в нашем городе ничего скрыть невозможно. А это настолько явно, что сомнения исключаются. Весь город судачит.

— Так он что — не женат?

— Разведен, говорят.

— Да он же гораздо моложе ее.

— Эх, Пашка... Не будь чудачком. Ты понравился ей потому, что старше ее, этот понравился, потому что моложе...

— Ну ладно, — поднялся с кресла Велешев. — Кажется, моя задача упрощается.

— Не унывай ты, ради Бога! — хлопнул его по плечу Сергей. — Выглядишь пока еще на все сто двадцать — найдешь себе настоящую.

— Конечно, какие наши годы... — с саркастической усмешкой ответил Велешев.

Вручив Сергею подарок для Нины в честь женского дня, получив пусть не новую, но вполне еще прилично работающую аппаратуру и распрощавшись с другом, Велешев уселся в машину рядом с Володей и долго молчал. Водитель почувствовал, видно, что главврачу не по себе, и тоже не произносил ни слова. Наконец он спросил осторожно:

— Теперь куда, Павел Андреевич?

— Теперь... — очнувшись, вздохнул Велешев, — надо нам с тобой найти фирму по продаже автомобилей “Рено”.

— Да знаю я, где у них салон.

— Вот и поехали.

Леньку Велешев увидел в салоне сразу — в темном, с иголочки костюме и ослепительно белой сорочке с галстуком сын Валерии выглядел среди разноцветных сверкающих автомобилей великолепно. “Какой же симпатичный парень”, — подумалось невольно. Ленька тоже моментально узрел его. Он разговоривал с каким-то мужчиной, наверное с покупателем, и, подняв руку, кивнул Велешеву — дескать, сейчас освобожусь.

Когда Ленька подошел, они, искренне обрадованные друг другу, поздоровались и почти одновременно вздохнули, потупились.

— Понимаешь, Ленья... — сразу начал Велешев. — Мне тут сказали... Но я не хочу верить никому, решил спросить у тебя...

— Я знаю, о чем вы хотите спросить, Павел Андреевич.

— Это правда?

— Правда. Как будто с цепи сорвалась. Увлелась, как безмозглая дев-

чонка. Я уж думаю, не с ума ли она сходит. Воюю с ней каждый день, но все бесполезно. А тот хлыщ... Остается только грохнуть его как-нибудь. Все время об этом думаю.

— Брось ты об этом думать, — положил руку Леньке на плечо Велешев. — Буря грянула — значит, просто надо подзакрепить в себе светильник. Помнишь, говорили с тобой о светильнике?

— Помню, Павел Андреевич. Но мне перед вами страшно неудобно, стыдно.

— При чем тут ты? Чего тебе стыдиться?

— Да ведь не сумел воспитать ее как следует.

— Но это же компенсируется, — рассмеялся вдруг Велешев.

— Чем?

— Тем, что она тебя умудрилась как следует воспитать. И знай, Ленья, что мое отношение к тебе каким было, таким и остается. Захочешь пообщаться — приезжай. Всегда буду рад.

— Спасибо, Павел Андреевич. Меня к вам тянет. Не исключено, что воспользуюсь вашим предложением.

На обратном пути Велешев, почти не отдавая себе отчета в том, зачем делает это, купил три бутылки водки, кое-какой закуски.

— Ого! — удивился Володя. — К празднику, видать, гостей ждете, Павел Андреевич?

— Никого я не жду, — мрачно ответил Велешев. — Один буду пить.

Володя принял это за шутку. Когда они приехали, дневная смена в больнице еще не закончилась, и Велешев сразу же прошел к Вере Гавриловне.

— Вот что, Вера, — сказал он. — Ты завтра возьми здесь все на себя часов до четырех. В четыре собери всех на торжественное собрание в честь женского дня. К этому времени я приду, а раньше мне не подняться.

— Что с вами, Павел Андреевич? — встревожилась она. — Заболели опять? На вас лица нет.

— Мне надо напиться.

— Я сейчас... Воды...

— Какой еще воды? Я пойду домой и напьюсь вдрызг.

— Вы... Зачем?

— Мне надо. Бывают такие моменты, когда человеку это просто необходимо. Неужели не понимаешь?

— Понимаю... Но...

— Никаких “но”. Мы договорились?

— Договорились...

— Ну, вот и хорошо, — он вдруг обнял ее, быстро поцеловал в щеку и стремительно зашагал к выходу.

...Когда Велешев наполнил первую рюмку — он решил пить большими рюмками — ему вдруг стало стыдно и больно оттого, что сознательно решил на такое. “Леньке советовал закрепить в душе светильник, а сам...” — с тоской подумал он. Хотел уже было выплеснуть водку в раковину, но словно кто-то бесшабашный подбодрил его изнутри: “А-а, была не была! Все равно у тебя нет сейчас сил видеть все в истинном свете”.

И он стал пить, закусывая кое-как, пока не напился до такой степени, что смутное сознание начало у него чередоваться с полным затмением.

Проснулся он ранним утром все-таки на кровати, хотя и лежал на ней по диагонали, головой туда, где должны быть ноги. Во рту было сухо, в голове гудело, и казалось, что в доме невыносимая духота. Велешев поднялся с трудом и, встрепанный, помятый, вышел на террасу. Мартовское солнце светило так ярко, что ослепило его до темноты в глазах. Он зажмурился и сказал вслух:

— Вот так-то, брат. Стоим в кромешной тьме восходящего солнца.

Присел у столика, стоящего на террасе, и постепенно выскыс с ослепительным солнечным светом. Было тепло, солнце быстро съело снег — в середине двора уже виднелось земляное пятно с прошлогодней жухлой травой. На ветку калины, которая росла у забора, села вдруг, словно приклеилась, синичка и запела: “ци-ци-ти”, ци-ци-ти, ци-ци-ти”.

И от этой немудреной песенки, несмотря на тяжелую мусть в голове и тошнотворное ощущение в горле, Велешева вдруг непроизвольно охватила радость, — он, глядя в синее торжествующее небо, глубоко, всей грудью, вздохнул. Вот она, подумалось, спасительная радость жизни. Тебе плохо, и она находит тебя. Жаль, конечно, очень жаль, что когда-нибудь придется покинуть этот мир, оставить тут много родного, доброго и прекрасного... И никто не сумеет доподлинно растолковать тебе, что ждет тебя потом, после твоего ухода из этой жизни. Да, это необъяснимо... Но, наверное, каждый должен сам, на своем личном душевном опыте бесповоротно убедиться, что душа, в отличие от ветшающей телесной оболочки, заканчивать свое бытие отнюдь не собирается...

Он старался не обращаться мыслью к Валерии, но мысль о ней все-таки пришла, словно бы настигла его. “Яснее ясного, — с горестью думал Велешев, — что служит она большей частью себе и своим житейским удачам. И любит больше всего себя. И в объятия к Секирскому, наверное, бросилась из любви вовсе не к нему, а к самой себе. Неужто никогда никого не любила по-настоящему? Неужели всю жизнь ей недоступно то, что открылось мне? Да, любовь вспыхивает, будто пламя, без всяких видимых причин, и никак не жалеет гаснуть. Но если она настоящая, то это пламя для того, чтобы согреть человека, которого любишь. И ты счастлив именно тем, что твое сердце пылает для него. А разве может быть счастливым человек, пылающий любовью к самому себе? Чего он добьется? Сожжет самого себя, да и только...”

...К шестнадцати часам Велешев явился в больницу — в строгом праздничном костюме, чисто выбритый и с некоторой припухлостью лица, которая хоть и была заметна, но не очень бросалась в глаза. На торжественном собрании он, стараясь вкладывать в слова побольше душевного тепла, отметил заслуги каждой представительницы больничного персонала в общем деле, всем без исключения женщинам вручил подарки. Потом было застолье с умеренным количеством выпивки и закуски. Подобным образом женский праздник отмечался в больнице ежегодно с того времени, когда Велешев начал работать тут главным врачом. Средства на подарки и застолье неизменно выделял директор местного крахмального завода, с которым у Велешева установились дружеские отношения.

За столом Велешеву тоже пришлось главенствовать, но сам он на сей раз ни водку, ни вино пить не мог — подавляя отвращение, лишь пригубливал для порядка. Атмосфера была такая теплая, так задорно шутили все и душевно смеялись, что ему стало намного легче. И женщины расходились потом — кто по домам, кто на смену — с явной неохотой.

Саше, наверное, вино придало смелости — она подошла к Велешеву и сказала тихо:

— Пригласили бы, что ли, на чай, Павел Андреевич. Так хочется побыть с вами еще хоть немного...

Он смотрел на нее несколько мгновений то ли задумчиво, то ли внимательно, потом ответил:

— Ну что ж, пойдем. Приглашаю тебя на чай.

На улице было почти уже темно, и она молча взяла его под руку. И ему хорошо стало от ее женского тепла — блаженно и в то же время печально заныло сердце. Некоторое время они шли, не произнося ни слова, потом Саша сказала:

— Вы уж простите, Павел Андреевич, за то, что напросилась. Но я живу... Вам ведь плохо.

— Теперь уже лучше.

Дома он помог ей снять пальто, и она оглядела кухню опытным женским взглядом, увидела в углу, возле отопительного котла, водочные бутылки. Одна из них была пуста, в другой еще оставалось немного спиртного.

— Разрешите, я у вас тут немного приберусь, — сказала Саша. — Мне бы веник, совок. А хорошо бы и ведро, тряпку для мытья полов. Я быстро. А вы, если хотите, переоденьтесь пока в домашнее.

Велешев показал ей, где находится все то, что она просила, и, потоптавшись немного в нерешительности, пробормотал:

— В самом деле — пойду-ка я переоденусь.

Потом они пили чай, весело, по-свойски, говорили о всяком-разном, по большей части о бытовых делах, и наступил момент, когда темы для разговора иссякли. Саша задумчиво уставилась в стол перед собой, а потом вдруг подняла голову и посмотрела Велешеву прямо в глаза длительным, чуть затуманенным взором. И медленно встала, обогнув стол, подошла к нему, осторожно, словно боясь обжечься, провела по его седеющим волосам ладонью. Велешев тоже встал, обнял ее за талию, и она обмерла, крепко вжавшись лицом в его щеку. Потом Сашины упругие губы коснулись его губ, и он ощутил ее грудь, горячую дрожь ее тела... Судорожно вздохнув, Велешев опустил руки, сжал губы. Она слегка отпрянула и вопросительно посмотрела на него.

— Не надо, Саша, — сказал он. — Ничего у нас не получится.

— Почему? Дело во мне? Я вам совсем не нравлюсь?

— Очень нравишься. Дело во мне. Я не нравлюсь себе.

Она опустила голову, медленно вернулась на свое место. И помолчав немного, длительно вздохнув, произнесла:

— Я понимаю... Хотя она и сильно вас обидела, но вы не можете...

— Сашенька, я тебя очень люблю и мне абсолютно все в тебе нравится. И даже не представляю, как я смогу работать, если тебя не будет рядом...

— Я понимаю, Павел Андреевич... — с едва заметной усмешкой несколько раз кивнула она. — Этими словами вы хотите сказать, что не любите меня. Ну что ж, пусть. А я все равно буду вас любить. И сейчас счастлива, что просто... рядом с вами. И всегда благодарю Бога, что он дает мне возможность быть возле вас. Только вот... больно смотреть, как вы мучаетесь.

На это он не смог ответить ничего.

## Глава тридцать шестая

Весна взяла такой мощный разгон, что к половине апреля снега уже не было, и ручьи иссякли, стала просыхать земля.

Велешев мог теперь выбиратья подальше от людей в свои любимые места, где уже начинали хозяйничать вернувшиеся из теплых краев птицы, и все живое пробуждалось не по дням, а по часам. Решился наконец навестить и заовражные палестины — разведать, высохла ли земля настолько, чтобы можно было пройти к соснам на “Голгофу”.

Был субботний вечер, такой теплый и тихий, что все вокруг разомлело, почти как летом, и даже обычные сельские шумы непривычно угомонились. Тропа, ведущая через овраг, была абсолютно сухой, но когда Велешев поднялся на другую сторону к широкому, с едва заметной пологостью, полевому холму и уже было направился к соснам, то пришлось вернуться на тропу — кроссовки вязли в цепкой слякоти. Глина тут залегала слишком близко к поверхности и воду держала долго. На полевом пространстве, однако, вовсю кипела жизнь — птицы перепархивали с места на место среди сухих будыльев прошлогодней травы, пели и щебетали на разный манер, а в бездонной синеве неба непрестанно вершили свой концерт жаворонки.

Велешев пошел дальше по тропе — она словно бы обозначала границу между полем и березовой рощей и вела к деревеньке, которая виднелась вдалеке. По пути он несколько раз останавливался и замирал лицом к березам, благоговейно ощущая их вдохновенную готовность к раскрытию почек, наблюдая за перемещением птиц и вслушиваясь в их возбужденные голоса. Близ деревеньки, которая сейчас была почти пуста, поскольку основу ее жителей составляли приезжающие на лето московские дачники, сверкал на солнце неширокий, вытянутый в длину пруд. Велешев остановился на земляной плотине и стал смотреть на воду. На ее глади то тут, то там расходился различного диаметра круги — признак того, что начали свои хлопоты очнувшиеся от зимнего оцепенения водяные обитатели.

И вдруг он услышал гусиный гогот. Косяк, заметно снижаясь, шел прямо к пруду — гуси, возможно, собирались опуститься сюда на отдых. Но по-

няв, наверное, что на плотине стоит не столб, а человек, птицы изменили направление — набирая высоту, словно бы переговариваясь между собой, пошли в сторону реки. “Ну вот, помешал”, — опечаленно подумал Велешев.

Он в задумчивости постоял на плотине еще немного и пошел обратно. Издалека вдруг начали стегать тишину ружейные выстрелы — один, другой, потом сразу дуллет. Открылась, уже, значит, охота — на заречных озерах били уток. “Несуразно это все, — с тревогой подумал Велешев, — слишком рано. Такое тепло за полмесяца до мая, гуси летят, утиная охота... На березах почки раскрываются... Как бы не обернулось боком...”

И вспомнилось вдруг, что завтра в областном центре второй, заключительный, тур выборов. В первом туре трое кандидатов на пост главы города, как и предполагалось, “остались за бортом”. Наибольшее количество голосов получили Алявдин и Секирский, и теперь должно было решиться, который из них выйдет победителем. Алявдин имел перевес в голосах — правда, очень незначительный.

От этого воспоминания у Велешева помрачнело в душе, опять начало щемить ее глубинной болью. И он, принимавший раньше эту боль как должное, на сей раз отчего-то разозлился на нее, на самого себя. “Страдалец... — остановившись посреди дороги и глядя сквозь прищур в полевую даль, саркастически произнес Велешев вслух. — Откуда ты взял, что после этой твоей душевной аварии все так уж непоправимо? Чепуха. Пока жив, все можно поправить. И никому не показывай вида, будто ты сверзился с обрыва и лежишь покалеченный, не в силах подняться. Показывай всем видом, что ты легко вскочил и уверенно идешь дальше. И старайся не думать о своей боли, не признавай ее, гадину...” И после этой тирады, пока шел, успел вполне надежно успокоиться.

...Проснувшись воскресным утром, Велешев почувствовал, что в доме холодно, а потом услышал шум ветра и, глянув в окно, обомлел. Валил крупный снег, да не просто валил, а его сырые хлопья суматошно металась по двору — разыгрывалась самая настоящая метель. У него сжалось сердце: каково же теперь будет всем этим певчим птицам, которых видел и слышал вчера, и прилетевшим гусям, уткам и прочей пернатой живности? Сколько всяких мелких земных жителей, поверив раннему теплу, очнулось и начало действовать, и вот тебе, пожалуйста, — врасплох такая напасть. Где и как все они сумеют попрятаться?

И подумав, что в ближайшие дни из-за распутицы вряд ли выберешься на природу так же, как вчера, Велешев решил, пока снега насыпало немного, пройтись тем же путем. Он понимал, что неразумно гулять по окраинам села в такую непогодь, и все-таки, умывшись кое-как, быстро собравшись и надев на сей раз резиновые сапоги, вышел из дома. Лепни сырого снега бросались в лицо, попадали за воротник, но он с каким-то непонятным ему самому упрямством продолжал шагать сквозь метель.

Спустившись в овражную ложбину, Велешев услышал вдруг отдаленный гогот гусей и остановился, как вкопанный: что это — почудилось, что ли? Однако звуки стали еще более явственными, и, задрав голову, он сумел-таки разглядеть птиц, летящих высоко в снежной сумятице. Они казались маленькими — косяк быстро шел в ту сторону, откуда устало летел вчера. “Кинулись обратно... — опять сжалось у Велешева сердце. — В этой снежной каше по земле-то идти — мучение, а каково лететь им там, в высоте...”

И он пошел дальше, словно пытаясь что-то доказать самому себе. Углубление тропы было заметно под снегом, и Велешев поднялся по ней на другую сторону овражной ложбины, зашагал полевой окраиной вдоль березняка. Тут, налетая с поля, метель бесновалась особенно сильно, и березы, почти уже раскрывшие почки, раскачивались, атакуемые снежными каскадами. “Куда же все-таки попряталась-то многочисленная вчерашняя живность? — подумал Велешев. — Так пусто, словно под этой метелью омертвело все...” Он перевел взгляд в поле и остолбенел, почувствовал, как холодеет спина.

Метрах в пятидесяти, в зарослях прошлогоднего чертополоха, релейника и цикория стоял волк и смотрел на него сквозь снеговую круговерть. Абсолютно ясно было, что это не овчарка, а волк — старый, сильный. И что-

то заставило Велешева отвести взгляд. Когда он принудил себя опять глянуть туда, зверя уже не было. Велешев повернулся и, медленно оглядываясь, стараясь не выказывать волнения, умеренной походкой зашагал в обратную сторону. Теперь, несмотря на снег, тающий на лице, ему стало жарко, спина взмокла от пота.

Отдалившись от того места на безопасное, как ему казалось, расстояние, он стал думать: что же это такое было? Наваждение, галлюцинация? И вдруг вспомнил, что однажды, года три назад, глубокой осенью, переходя через поле к трем соснам по первому снегу, видел волчий след. Особенности волчьих следов он знал едва ли не с детства — тогда в окрестных лесах водилось немало этого зверя. Да и нельзя было спутать ни с каким другим след лап с выступающими когтями, который был величиной с небольшую человеческую ладонь. Еще подумалось тогда, что немудрено столкнуться здесь и с самим обладателем этих лап — волк, наверное, ходит к реке на водопой или на какую-нибудь свою охоту... Но сейчас — куда же он так внезапно исчез? “Да залег в бурьяне, — догадался вдруг Велешев. — Поостеречься решил, как и ты — вот тебе и вся разгадка”.

“До чего же странное утро... — с тревожным удивлением размышлял он. — Мистика, да и только. Наподобие той, посленовогодней, истории с разбившимся голубем. Зачем понесло меня в такую непогодь из дома? Так понесло, будто я сам себе не хозяин, будто кто-то predetermined мне эту встречу с одиноким волком... Да все это — и неожиданная, совершенно дурацкая метель, и гуси, стремительно летящие сквозь нее обратно к теплу, и уставившийся на меня из бурьяна волк — похоже на таинственный какой-то знак, и вряд ли он сулит что-либо хорошее...”

Но потом, уже входя в дом, Велешев одернул себя: “Что-то уж слишком ты нагородил... Просто помрачение в природе, смятение — точно так же, как бывает и в человеческой душе. Как случилось и с твоей душой, например... В ней в такие моменты царит печаль, тревога, возникают нехорошие предчувствия. А в природе в такие периоды властвует буйное ненастье, и все незащитное ищет укрытия, тепла. А хищники выходят на охоту. И скорее всего потому ты так бездумно ринулся в эту беснующуюся снежную муть, что смятение природы родственно твоему душевному смятению, и ты ощутил все это как единое целое”.

Однако нехорошие предчувствия все-таки оправдались на следующий день.

Придя вечером с работы и наскоро перекусив, Велешев уселся перед телевизором, чтобы послушать областные новости. Хотелось узнать, кто же наконец завладел креслом главы города. И ведущий новостей объявил, что в связи с гибелью кандидата Владислава Секирского будут назначены повторные выборы, о сроках которых горизбирком проинформирует избирателей в ближайшие дни. Никаких подробностей о гибели Секирского ведущий не сообщил.

Выключив телевизор, Велешев сидел ошарашенный, не зная, что и предположить. И вдруг в его памяти четко всплыли Ленькины слова о том, что он, Ленька, только и думает, чтобы как-нибудь “грохнуть” Секирского. Душу захлестнула тревога. Номера Ленькиного мобильного он не знал. Позвонить Валерии? Нет, этот звонок будет для нее весьма некстати, да и к чему бы общаться с ней “отрезанному ломтю”?

И Велешев решил позвонить Болотину — уж тот-то наверняка что-нибудь да знает. Сергей действительно знал подробности — они, наверное, были известны теперь всему городу. Случилось это на прошлой неделе, в один из тихих и невероятно теплых для середины апреля вечеров. Секирский проезжал в восточном районе города через площадь, которая была почти безлюдной, и вдруг увидел в машине, стоящей неподалеку от магазина, своего соперника — кандидата Алявдина. Немного думая, Секирский подъехал вплотную к Алявдину и закричал в бешенстве: “Пока не поздно,ними свою кандидатуру, сволочь!” Алявдин не реагировал никак — молча смотрел в сторону. Тогда Секирский, похоже, совсем уже не владея собой, отъехал задом на своем тяжелом джипе и, разогнавшись, все с тем же бешеным криком та-



ранил машину соперника. Алявдинский автомобиль хоть и был гораздо легче, однако выдержал, не опрокинулся. Секирский, продолжая изрыгать ругательства, снова разогнался, ударил уже с другой стороны. А когда разогнался в третий раз, из магазина выскочил водитель Алявдина, он же охранник, которого тот посылал что-то купить, и, выхватив пистолет, открыл беглый огонь по нападавшему. И джип, влипнув в алявдинскую машину, больше уж не отъезжал — одна из пуль угодила Секирскому в голову. Алявдину повезло — он хоть и пережил, наверное, немалый ужас, но почти не пострадал, отделался лишь ушибами и ссадинами.

— У Валерки-то плохи, видать, дела, — сказал Болотин. — Посуди сам...

— Не мне судить, — ответил Велешев.

— Это понятно. Но, между прочим... она звонила Нине. Еще до его смерти, дня за четыре до этого.

— И что же?

— Сказала, что вся жизнь у нее кувырком, что совершила страшную ошибку. С сыном отношения испортились. Кроме Нины поделиться, наверное, не с кем. Сильно сокрушалась — похоже, совсем худо.

— Да, — сдержанно произнес Велешев, — теперь-то уж ясно, что ничего хорошего.

— Жалко ее, чертовку.

Велешев промолчал, потому что именно от жалости, смешанной с горечью и тревогой, у него зануло сердце.

...Снегу навалило много, и лежал он почти до Пасхи — лишь дня за два до нее растаял совсем, и солнце начало греть по-настоящему. Но природа уже не доверяла теплу — скудно пели птицы, соки в деревьях и других растениях словно бы замерли.

От своей душевной смуты Велешев по-прежнему спасался работой, но теперь уже не только ею одной. В конце Великого поста он почти каждый вечер ходил в церковь. И открыл вдруг для себя, что одиночество может сослужить человеку большую службу. В одиночестве ты страдаешь, отчаиваешься, но неожиданно-негаданно начинаешь ощущать в душе какую-то неведомую силу, и у тебя до предела обостряется любовь к самому святому в жизни. Ты проникаешься настоящей, искренней верой в высшее и надежно защищаешь себя этой верой.

Через неделю после Пасхи, в праздник, называемый в народе Красной горкой, к Велешеву нагрянули гости. Глянув утром в окно, он увидел подъехавшую к дому машину, из которой ловко вынырнула Лидочка Возницына, а потом степенно выбрался из-за руля похожий на Тургенева знакомый незнакомец. И Велешева охватила радость — он почти бегом бросился встречать их.

Лидочка, красивая, сияющая от радости, по-девичьи бросилась ему на шею, крепко расцеловала в обе щеки.

— Ну-с... — улыбаясь, отступила она в сторону. — Теперь прошу знакомиться, господа.

— Неужели до сих пор не выдала меня? — стараясь казаться серьезным, спросил Велешев.

— До сих пор! — утвердительно тряхнула она кулачком.

Незнакомец со сдержанной улыбкой шагнул к нему и протянул руку.

— Я же говорил, — зарокотал он, — что вполне могу по вам соскучиться. Так оно и случилось. Заскучали вот вкупе с Лидочкой. Поскольку я в качестве гостя — если, конечно, примете, — то, ясное дело, должен представиться первым. Кологривцев Петр Афанасьевич, художник-реставратор.

— Да ведь я о вас, — пожимая его большую крепкую ладонь, сказал Велешев, — кажется, где-то слышал либо читал... Богословский монастырь, фрески...

— И не только.

— Вон оно что... Ну, а я — Велешев Павел Андреевич, здешний врач.

— Вот те на! Уж не тот ли известный хирург с большой ученой степенью, который взял да и уехал работать участковым врачом в село? Я эту ис-

торию раньше от Лидочки слышал, да и в кругах поговаривали с недоумением... неужели тот самый?

— Теперь уж далеко не тот. Выходит, заочно-то мы с вами все-таки знакомы.

— Выходит так, брат мой непобежденный. Значит, Господу Богу так было угодно.

Об угощении Велешеву заботиться не пришлось — гости привезли с собой вместительную кастрюлю с мясом, замаринованным для шашлыка, и горю различных закусок. И спиртное тоже — коньяк, водку, вино. Лидия с разрешения Велешева внимательно ознакомилась с его жилищем и со всем, что к жилищу примыкало, в том числе и с огородом, расположенным за сараем, и, прижав ручки к груди, сладостно вздохнула: “Ах, как у вас тут хорошо!..” А потом надела привезенный с собой красивый фартучек и принялась готовить на стол, заявив, что отлично справится без помощи мужчин.

Солнце щедро пригревало, и стол накрыть решили на террасе. Велешеву не дали делать ничего — он лишь объяснял, где что взять, да набрал дров для приготовления “священной пищи”. Жарить шашлык решительно взялся Петр Афанасьевич. Пока длился этот процесс, мужчины с удовольствием перешли на “ты” без отчества. Кологривцев, стоя у мангала, осторожно покручивал над углями шампур, а Велешев, щурясь от солнца, сидел на террасе напротив него.

— Да, брат Паша... — рассуждал Кологривцев. — Немудрено, что мы с тобой... деятели, можно сказать, партизанского толка, притянулись друг к другу. И как связующее звено между нами Лидочка — истинная красота и чистота. Думаю, что и спасение-то все именно в таком вот нашем русском притяжении. Чем еще спасаешься в такой темной да вязкой гуще? Сердца-то вокруг загажены, души осквернены. Большинство смотрит на мир Божий искривленным взглядом, а кривым да косым-то — где уж им увидеть или почувствовать хоть что-нибудь святое... Людьми движут тщеславие да властолюбие. А покаяние, умеренность, скромность — это уж вроде бы только для нищих. Да, впрочем, и нищие-то нынче подлые и злые, как черти. И ведь все, от богача до нищего, считают себя умными как никогда. Все всё знают, все во всё разбираются, даже в том, кто и за что убил Тутанхамона почти за полторы тысячи лет до нашей эры. Только вот “прекрасных порывов”, благодаря которым совершаются на земле истинно великие дела, ждать тут абсолютно бесполезно...

— А казалось бы, — сказал Велешев, — люди обладают сейчас очень многим. Взять хотя бы детей — у них теперь компьютеры, то есть окно, открытое в огромный мир. Только вот и у детей, и у взрослых есть ли по-настоящему ценный смысл жизни?

— Да и я о том же — миром правит бессмыслица.

Потом они рассказали друг другу основное о себе. Велешев поведал, как и почему он оказался здесь, а Кологривцев открыл ему, что был женат три с половиной раза.

— С половиной — это как? — удивился Велешев.

— Да очень просто — с последней жил без оформления. Теперь обитаю в своей мастерской один и ни о какой женитьбе не помышляю, поскольку надежно укрепился в своем одиночестве. Чувствую себя отлично — как в крепости, ворота которой открываются только для истинных друзей.

Когда, наконец, разместились за столом, выжили за встречу и стали закусывать, Велешев приступил к шашлыку настороженно: жевал медленно, с таким отсутствующим взглядом, словно к чему-то прислушивался. Кологривцев глянул на него и спросил:

— Ты чего — дегустируешь, что ли?

— Именно.

— Ну-ну...

— Да понимаешь... — через некоторое время объяснил Велешев. — Друг у меня есть — невропатолог. Мы с ним при встречах шашлыки сочиняем вместе. Я мариную, а он жарит. Так вот хочу понять: твой лучше или наш?

— Ну, и какое же твое заключение?

— Ты и мариновал его сам?

— Естественно.

— Прямо сказать — великолепно. Что-то в нем этакое неуловимое, необыкновенное. Прелесть. Не поделишься рецептом маринования?

— Да ради Бога.

И Кологривцев принялся обстоятельно разъяснять, сколько и чего кладет он в мясо, сколько времени дает ему, чтобы оно по-настоящему прониклось специями.

— Ох... — откинувшись на стуле и устремив взгляд в небо, вздохнула Лида. — Как же мне у вас нравится, Павел Андреевич! И... знаете... Всегда вспоминаю, как я выздоравливала после операции. Иногда так хочется вернуться туда, в то время... Чтобы опять вы сидели на койке рядом и подбадривали, пытались рассмешить меня, хотя смеяться было нельзя. Те дни... Они для меня были настолько счастливыми, что тянет туда и тянет...

— Вполне естественно, — сказал Велешев. — Это было счастье выздоравливающего человека, у которого впереди вся жизнь.

— Да, пожалуй... — не глядя на него, задумчиво кивала Лидия. — Но, наверное, не только это... — И вдруг словно бы очнулась, обратилась к Кологривцеву: — А вы, Петр Афанасьевич... Бывают у вас моменты, когда хочется вернуться в прошлое?

Тот был занят котом Федором, который в пику хозяину старательно кормился возле гостя шашлыком, и ответил не сразу.

— В прошлое, говоришь?

— Да, вернуться в прошлое.

— Боже упаси, — вскинул голову Кологривцев. — С какой стати я туда полезу, чего я там забыл?

— Ну, как же — ведь там молодость, свежее восприятие жизни, священный трепет сердца...

— Ой, Лидочка, ради Бога уволь... — сделав кислешую физиономию, заслонился ладонями Кологривцев. — Чего там священного? Стать опять тем же безмозглым идиотом, каким я был в двадцать-тридцать лет? Наделать кучу тех же самых ошибок и с той же глупой самонадеянностью тратить впустую свое драгоценное время? Не хочу, не желаю. Хочу быть таким, какой я есть сейчас. Да я сейчас в тысячу раз моложе того унылого и нерешительного болвана.

— Ну, что вы говорите? — с недоуменной улыбкой развела руками Лидия. — Так ругать свою молодость... Неужели там было хуже, чем будет впереди? Ведь впереди — рано или поздно — смерть.

— Вот и прекрасно, — выпалил Кологривцев.

— Да что с вами, дорогой Петр Афанасьевич? — оцепенела Лидия. — Смерть — это прекрасно?

— Ну, возможно, я слишком восторженно выразился. Конечно, больно будет расставаться, к примеру, с тобой, а теперь уж вот и с Андреичем. Да и со всеми родными и друзьями, со своей работой, которая делается сердцем, с невыразимой земной красотой... Но... тем не менее... С какой стати я буду клясть смерть? Да разве она страшнее жизни? Ты прикинь все глубины, повороты и водовороты, все валуны и коряги, по которым волокет тебя, швыряя, как мешок с трухой, свирепая река, именуемая Жизнью. Иного она до того измочалит, что о смерти он думает как о великом благе. Да она и есть благо. Вот эта паршивая ненадежная оболочка, — схватив себя за грудь, оттянул рубашку вместе с кожей Кологривцев, — эта рыхлая коробка, называемая телом, — сколько доставляет она нам всяческих болей да хворей, огорчений да мучений... А смерть приходит и освобождает от житейских мук, от этой гниющей оболочки. Освобождает душу, выпускает ее на волю, как птицу из клетки. Так что смерть-то вовсе не темная бездонная пропасть, где все исчезает бесследно. Это дарованная свобода, взлет к сияющим вечным высотам. Как хотите, а я уверен.

— Ну, Петр Афанасьевич... — покачала головой Лидия. — Вы, как всегда, со своими сокрушительными парадоксами.

— Да какой же тут парадокс, милочка? — развел он руками. — Это правда о жизни и смерти, которую я выстрадал в течение многих лет. Считаю, что не бояться надо смерти, а глубоко уважать ее и спокойно идти ей навстречу “со светлею свещею души своея”.

Потом Кологривцев принес гитару, которая лежала в машине, расчехлил ее, и они с Лидией стали петь. Пели старинные русские песни, и такое прекрасное было исполнение, что Велешев обомлел. Лидия вела мелодию своим mezzo-сопрано истинно лирической окраски, а Петр Афанасьевич вторил ей мягким густым баритоном, почти басом. И на гитаре он аккомпанировал великолепно. Они спели “Липу вековую”, “Вот мчится тройка почтовая...”, “Черного ворона”, и через некоторое время Велешев уловил вдруг какое-то шевеление во дворе, за углом дома, и вроде бы даже шепот. Он встал, пройдя по террасе, заглянул за угол и вздрогнул от неожиданности. Ворота были распахнуты, во дворе стояли люди и смущенно взирали на доктора. Человек, наверно, пятнадцать — женщины, несколько мужчин, ребята и девочки подросткового возраста и совсем маленькие. Поодаль, поняв, видно, что коль вошло во двор столько народу, значит, можно и ему, в строгой позе сидел велешевский друг — пес Амфибрахий.

— Извините, Павел Андреевич, — попросила за всех Мария Терехова, соседка. — Кто мимо шел, кто со своего двора услышал — вот и набралось нас тут без спросу. Стоим, слушаем — душа к горлу подымается. Где мы еще услышим такое пение? Не прогоняйте уж нас, простите Христа ради...

— Та-ак... — шумно вздохнул Велешев. — Ну, коль такое дело — проходите, становитесь все перед сценой.

И люди стеснительно продвинулись дальше, заняли почти все пространство двора перед террасой.

— Концерт продолжается! — вдохновенно возгласил Велешев.

Лидия с Кологривцевым поначалу растерялись от неожиданности, но потом поднялись со своих мест, встали на террасе лицом к зрителям. И пели, наверно, еще минут сорок. После каждого романа или песни люди с сияющими от хороших чувств лицами награждали их аплодисментами, а когда исполнялась песня “То не ветер ветку клонит...”, женщины, стараясь не глядеть друг на друга, украдкой стали вытирать слезы. И Велешев почувствовал, как у него слезы подступают к глазам. И подумал, что давно уже ему не было так хорошо.

Расходясь, люди долго и шумно благодарили и певцов, и Велешеву, а Мария Терехова моментально сбежала домой и приволокла вполне уместный подарок, состоящий из двух стеклянных банок. В одной банке заманчиво белели маринованные маслята, а в другой, вперемешку с дольками чеснока и моркови, пламенели помидоры и отборные сладкие перцы.

Когда застолье возобновилось, Велешев не переставал удивляться.

— Да как же это вас угораздило — так совместиться голосами и так прекрасно спеться?

— В моей мастерской, — ответил Кологривцев, — давненько уже собираются нераздвоенные, непобежденные, родные мне и друг другу люди. И мы всегда поем. Иногда все вместе, а иной раз — вот с Лидочкой.

— Да вам с ней — хоть вместе, хоть порознь — надо петь на лучших сценах.

— А мы что делаем? — сощурился Кологривцев. — Разве это не лучшая сцена и слушала наш концерт не лучшая публика?

О своем друге Амфибрахии Велешев не забыл — набрав со стола еды, угостил его как следует. Гости заинтересовались этой уникальной личностью, и Велешеву пришлось рассказывать им о своих взаимоотношениях с собакой, похожей на обезьяну. Пока Амфибрахий ел с неспешностью мудрого старика, кот Федор хмуро взирал на него, примостившись на перилах террасы. Выходя на улицу, пес поблагодарил хозяина, который провожал его, — толкнул головой под коленку.

Потом неожиданно, как всегда, пришел Василий Котофеев — принес рыбы.

— На рыбалке был, — сказал он, — а мимоходом узнал, что у тебя, Андреич, гости. Думаю, надо отнести рыбки.

— Что за рыба? — заинтересовался Кологривцев.

— А вот гляньте.

В сумке у Котофея лежали подвязки, несколько крупных окуней, пара судачков.

— Так это же царская будет уха! — воздел руки к небу Петр Афанасьевич.

— Самая уха, — подтвердил Котофей.

— Братцы мои! — проникся еще большим вдохновением художник. — У меня есть план!

— Выкладывайте, Петр Афанасьевич, — сказала Лида. — Я люблю ваши планы.

— Тогда слушайте. Я сейчас чищу рыбу, потом часа на полтора мы все заваливаемся на боковую, выдаем вдохновенного “храповицкого”. А потом... Ведь если есть рыба, значит, есть тут река и берег. Так, Андреич, или не так?

— Истинно так, Петр Афанасьевич.

— В таком случае уху надо варить только на берегу и только на костре. Чтобы с дымком. Весенний вечер. Костер, запах ухи, водочка охлаждается в воде, и река скользит мимо... А?

— Отличный план! — захлопала в ладоши Лидия.

— А вы... — обратился Кологривцев к Котофею. — Простите, как ваше имя-отчество?

— Да просто Василий.

— Давайте-ка, Василий, подьемлем по единой. Очень желается выпить за вашу своевременную доброту.

— Что же, — согласился тот, — с устатку можно.

Когда Велешев определил гостей на отдых и сам с каким-то неизъяснимым блаженством улегся на кухонном диванчике, Кологривцев через несколько минут начал выдавать такого мощного “храповицкого” с тонкой фистулой в конце каждого колена, что уснуть или хотя бы задремать ненадолго не было ни малейшей возможности. Вытерпев с полчаса, Велешев пошел на веранду и устроился там на кушетке.

Через некоторое время его разыскала тут Лида.

— Можно, Павел Андреевич, я присяду рядышком, как вы когда-то сидели возле меня?

— Ради Бога, присаживайся, Лидочка.

— Драгоценный наш Петр Афанасьевич, — сказала она, опускаясь на краешек кушетки, — пожалуй, так же музыкален во сне, как и наяву. Начала было задремывать, да где уж тут...

— Со мной та же история. Ладно, пусть уж он один за всех выспится.

— Знаете, Павел Андреевич... Мне тут у вас все кажется настолько родным, будто видела это уже много раз. И... может, вам покажется странным, но... я, наверно, без малейшего сомнения бросила бы все свои вокальные мытарства и поселилась бы тут, рядом с вами. Провожала бы вас на работу и встречала с работы, готовила бы прекрасные завтраки, обеды и ужины, выращивала бы множество разных цветов и полезных овощей. Ведь я все это умею — научилась на родительской даче...

Она вдруг замолчала, и Велешев молчал несколько мгновений, потом взял ее теплую маленькую ладошку, сжал обеими руками.

— Лидочка, дорогая ты моя... Я был бы безмерно счастлив... если Господь Бог... наградил бы меня такой дочерью, как ты. Я и сейчас счастлив, потому что в душе чувство, будто рядом со мной сидит моя родная и любимая дочь.

Заметно было, как Лидия словно бы померкла вся. Склонив голову, она некоторое время сидела молча.

— Я понимаю, Павел Андреевич... — с усилием произнесла она. Все понимаю. Ну что же... — подняв голову, с улыбкой посмотрела она ему в глаза. — Тогда уж разрешите навещать вас тут на правах дочери.

— И она еще спрашивает разрешения!... — облегченно просиял Велешев.

...Место у реки выбрали на том самом мысу, с которого видны были большие сосны, как на ладони стоящие на ярко-зеленом травяном ковре близ Овражной Заводы. Дров привезли с собой, и приготовлением ухи занялся опять же Кологривцев. Он чувствовал себя виноватым — до его сведения как бы между прочим было доведено, что, по причине производимого им со всевозможными руладами храпа, погрузиться в целебный сон больше никому не удалось. Даже кот Федор для пущей безопасности вынужден был удалиться на крышу сарая.

— Как же это я так? — сокрушался Петр Афанасьевич. — Забыл, раззява, предупредить, чтобы натолкали в уши ваты.

Вечер был безветрен, проникнут покоем весны, и даже птицы пели как-то по-особому умиротворенно, словно лениво нежились в своем посвисте, чивиликанье и стрекоте. Деревья, кусты только еще начинали одеваться листвой, и их нежно-прозрачная зелень вызывала в душе тонкое, щемящее, счастливое чувство. Противоположный крутой берег реки, которым Велешев любовался когда-то осенью вместе с Валерией, Фадеем, Ленькой и Кутенцовым, радовал теперь сердце многообразием оттенков весенней зелени, поскольку в каменистый склон вцепилось столько разных деревьев и кустов, что он являл собою нечто вроде непроходимого вертикального дендропарка. Там и сям выделялись в нем белые купы — расцветала черемуха. А над всем этим, как и тогда, осенью, толпились на заднем плане огромные, различных конфигураций, горы облаков, только на сей раз больше было в них белизны — они даже ослепляли своим ликующим видом.

Костер весело потрескивал, булькающая в рыбацком котле уха распространяла вокруг неповторимый, близкий всему земному запах. Когда собиравшись сюда, Велешев предложил взять с собой имевшуюся у него палатку, и сейчас ее расстелили на земле, сидели на брезенте, вдохновенно наслаждаясь всем сущим.

Вскоре и уха была готова, и Лида приготовила все для того, чтобы можно было вкушать эту соблазнительную пищу с истинным наслаждением. Уха у Кологривцева, как и шашлык, получилась отменной, и водка шла под нее удивительно — не пьянила, а словно бы возвышала душу, настраивала ее на самое сокровенное.

Кологривцев сидел на брезенте, скрестив ноги по-татарски, и постоянно, словно боясь, что не успеет насмотреться, взглядывал на живописный противоположный берег, на белые увалы облаков.

— А знаете, братцы... — сказал он. — Я тут подумал... Борьба между старым и новым, споры между отцами и детьми — такое было всегда. Но сейчас, по-моему, это стало особенно опасным.

— В чем же, по-вашему, опасность? — спросила Лидия.

— Жизнь состоит не только из старого и нового — есть еще и вечное. Так вот, в борьбе и спорах о вечном-то совсем забыли.

— Мне тоже часто думается о том, — сказал Велешев, — что с людьми в нынешнее время творится нечто очень нехорошее. И не только у нас, а со всем человечеством!

— Это “нечто” называется повальным равнодушием, — ответил Кологривцев. Страшная болезнь, которая охватила на земле всех сверху донизу. Равнодушие, уничтожающее ответственность. Каждый отвечает только за себя и живет только для себя. Я человечество воспринимаю как единую цепь. Уж какими зигзагами уложена эта цепь Господом Богом на Земле — это другое дело. А суть в том, что все мы взаимосвязаны. Не помог ты человеку, которому имел возможность помочь, отвернулся от его несчастья — и страдание идет по цепи дальше. Бедуют его дети, жена, а от их деяний, совершенных, быть может, от безвыходности, могут пострадать и другие люди. Ты сумел избежать осложнений лично для себя, сохранил в тепле и покое свое драгоценное “Я”, но ведь принес-то себе зло, а не добро. Тот, от чьей беды ты отвернулся, кого предал ради своего спокойствия, он будет презирать тебя, а то еще, чего доброго, и врагом твоим станет. А если ты отне-

сешься так же к другому, к третьему, к десятому? Подумай, в кого ты тогда превращаешься, в какое опасное положение ставишь свое драгоценное “Я”. То страдание, к которому ты повернулся спиной, запросто может дойти по цепи и до тебя. То есть, снимая с себя ответственность хотя бы за одного человека, ты наносишь повреждение всей цепи, звеном которой являешься сам. Можно, конечно, закрыть на все глаза и жить только своей выгодой, считать себя ни от кого и ни от чего не зависимым, даже счастливейшим из смертных, но рано или поздно глаза придется открыть, и ужаснешься тому, что вокруг тебя. Ужаснешься и самому себе. Такое-то вот оно, Павел Андреевич, происходящее с человечеством “нечто”. Не знаю, возможно, это только на мой взгляд...

— Нет, не только. По-моему, ты поставил поразительно точный диагноз.

— Да ну вас, — сказала Лидия. — Такая благодать кругом, а мне от ваших диагнозов даже плакать хочется. Петр Афанасьевич, давайте лучше споем что-нибудь.

— Прости, голубчик Лидочка, — погладил ее по плечу Кологривцев. — И в самом деле — что-то сгустили мы тучи над собой.

— Давайте “Мой костер”.

— Умница ты моя. Это спеть просто необходимо.

И они запели — плавно, негромко, с уважением к благодатной вечерней тишине...

Уехали гости на другой день в семь утра. Велешев упрасивал их погостить еще — отдохнуть как следует, полюбоваться окрестностями, но Кологривцева ждали срочные дела, и Лидии надо было собираться на гастроли в соседнюю область.

Он понимал, что и Лидия, и Петр Афанасьевич знают обо всем происшедшем с Валерией, и к нему приезжали из сочувствия, желая поддержать его душевно. Велешев был глубоко благодарен им за это, как и за то, что о Валерии ими не было произнесено ни слова. И не покидало его удивление: у Лидочки-то, оказывается, не просто сочувствие, а серьезное чувство к нему. Валерия, выходит, была права...

### Глава тридцать седьмая

Неуловимо летело время, и в напряженной работе, в решительных стараниях по примеру Кологривцева понадежней укрепиться в своем одиночестве Велешев не заметил, как проскочили два с половиной месяца.

Впрочем, одинокой его личную жизнь вряд ли можно было назвать, поскольку она периодически насыщалась приятными событиями. За это время к нему еще дважды приезжали Кологривцев с Лидией, и новые встречи с ними были не менее интересными и теплыми, чем первая. Иногда навывались Фадееч с Людмилой — с ними ему тоже было хорошо. Болотины однажды повергли его в изумление. Сказали по телефону, что решили потихому обвенчаться в Пореченской церкви, и попросили договориться об этом с батюшкой. И через две недели Велешев присутствовал на их венчании. “Становлюсь штатным шафером”, — шутил он, вспоминая, как совсем недавно венчались Отроченков с Людмилой. Отмечали знаменательное для Болотинных событие в велешевском доме. О Валерии и здесь не произносили ни слова, но он, совершив над собой немалое усилие, все-таки спросил у Нины:

— С Валерой-то перезваниваетесь?

— Изредка. Она, конечно, в трансе. Сильно испортила себе все.

С такими-то вот событиями протекало у Велешева лето, и однажды вечером, в середине июля, Валерия вдруг позвонила ему.

— Паша, прости меня, — сказала она.

Его с головы до ног обдало жаром, и несколько мгновений он молчал, приходя в себя. Потом ответил:

— Ты об этом уже просила в феврале. И я еще тогда выполнил твою просьбу.

— Можно, я к тебе приеду?

— Зачем? Боюсь, что утешитель из меня плохой.

Валерия молчала, прерывисто дыша — видно, никак не находила ответа. И он положил трубку.

А потом не мог найти себе места — медленными тяжелыми шагами ходил из большой комнаты в маленькую, а оттуда на кухню, резко садился в кресло и, сжав ладонями голову, замерев на некоторое время, так же резко вставал. Выходил во двор и сидел там, глядя на небо, потом опять возвращался в дом.

Ночью Велешев почти не спал, а на другой день почувствовал, что если и дальше будет носить в душе эту мучительную неопределенность, то у него лопнет сердце. И вспомнил вдруг с облегчением, что сегодня во второй половине дня больничный водитель привезет Отроченкова — нескольким больным требовались осмотр и назначения невропатолога.

При встрече Фадеич глянул на Велешева прицельно и покачал головой:

— Ты, брат, уж не хворый ли? Вид у тебя — как будто суток трое пил, не просыхая.

— После поговорим, — болезненно поморщившись, ответил Велешев.

Фадеич был в курсе насчет Валерии — знал от Велешева, в какую ситуацию она угодила. А теперь, узнав о ее вчерашнем звонке, помолчал немного и задумчиво покивал:

— Просветление пошло, вот и решилась позвонить. И что же она тебе сказала, если не секрет?

— Да какой тут секрет! Просила прощения.

— Ну а ты?

— Сказал, что давно уже ее простил.

— И все?

— Просила разрешения приехать.

— А ты?

— Я спросил: зачем? И добавил, что в утешители не гожусь. На это она не ответила ничего, и я положил трубку.

— Хм... Не ответила ничего, положил трубку... Может, для ответа ты дал ей слишком мало времени.

— Слушай... — вскипел Велешев. Он вскочил с кресла и пронзил Фадеича своим “волчьим” взглядом. — Что ты ее без конца защищаешь? Неужели не ясно, к какому типу женщин она принадлежит? Есть такой тип — они обладают способностью вызывать в нас любовь истинную, высокую, но только лишь для того, чтобы с наслаждением уничтожить ее. Сами-то они никогда никого не любили и не полюбят. Главный для них процесс — это разжечь любовь в тебе, а потом сделать все для того, чтобы она корчилась в муках...

— Ну-у, прорвало плотину... — со вздохом произнес Отроченков. — Можешь сверкать своей “волчьей” зеленью сколько угодно, а эту твою гневную высокопарную тираду я могу расценивать только как запоздалую злость и до сей поры скрываемую ревность. А где ревность и злость, там справедливость и не ночевала.

— Интересно, в чем же я несправедлив? — взяв себя в руки, начал остывать Велешев.

— Несправедливо твоё утверждение, будто Валерия Сергеевна имела целью уничтожить твою любовь.

— А что же, по-твоему, двигало ею во всей этой истории?

— Судя по всему, она очень подвержена страстям. И тут ею двигала страсть, не иначе.

— А по отношению ко мне до этой истории что же ею двигало?

— Наверное, все-таки любовь.

— Ах, как занимательно... — с резким сарказмом рассмеялся Велешев. — Любовь к одному была уничтожена страстью к другому...

— Зря ты так смеешься, Паша, — глянул на него Отроченков посуровевшим взглядом. — Видишь ли, брат... Страсти бывают разные. Иная страсть помрачает рассудок так же, как буря гасит фонарь или факел. И тогда человек если что и видит, то совсем не таким, какое оно есть на самом



деле. Скорее всего так случилось и с ней. И еще одно. Ты, наверное, не хуже меня знаешь, что жизнь любого нормального человека делится на две части: сначала он безоглядно идет путем греха, а потом начинает терзаться сомнениями и сворачивает на путь покаяния. Так вот... Валерия Сергеевна, возможно, пока еще только подходит ко второй части своего пути.

— Да что-то уж слишком греховно она к ней подходит.

— Может, это был последний глубокий ухаб, в который она провалилась перед поворотом. А ты, как всегда, чересчур категоричен для человека, идущего путем покаяния. Мне, например, кажется, что Валерия Сергеевна — женщина с огромным внутренним потенциалом. Потому тебя и потянуло к ней. А все эти ее завихрения — просто пена, пыль. Наносное. Самое лучшее в ней, по-моему, еще не раскрыто. Да что я тебе тут распинаюсь? Ты глянь на себя в зеркало, посмотри, на кого похож. Тоскуешь ведь по ней. Ну, скажи прямо, положи руку на сердце: неужели тебе ее не жалко?

— Тоскую, — признался вдруг Велешев и собрал пятерней рубашку на груди. — Жалко ее — сил никаких нет.

— Так ведь любовь же это, Паша. Настоящая любовь. А уж как распорядиться ею в такой ситуации — тут я тебе не советчик.

После этого разговора Велешеву стало несколько легче.

Но через два дня душе опять было суждено всколыхнуться до самого доньшка. Вечером, когда уже смеркалось, приехал Ленька.

— Что случилось? — забыв даже поздороваться, встретил его тревожным вопросом Велешев.

— Да то, что случилось, — растерянно переминаясь у двери с ноги на ногу, ответил Ленька. — Вам, Павел Андреевич, наверно, хорошо известно. А я решил вот... Наведаюсь, думаю, воспользуюсь приглашением...

— Вот и молодец, — приобняв его за плечо, засуетился Велешев. — Чего стоишь? Проходи, изобразим сейчас что-нибудь на ужин. Выпьем?

— Не могу, Павел Андреевич. Мне обратно ехать.

— Обратно — сейчас, в ночь? Да с какой стати? Если уж так спешешь, то встанешь пораньше утром.

— Не могу. Я не сказал маме, что еду к вам. Не хочу, чтоб она знала. Если сегодня не вернусь, будет сильно волноваться. И есть мне неохота, так что не беспокойтесь. Чайку вот если покрепче...

— Это мы сейчас мигом соорудим.

Пока Велешев заваривал чай, они оба молчали. А когда уселись за стол, Ленька тяжело вздохнул и, помолчав еще мгновение, сказал:

— Не буду, Павел Андреевич, ходить вокруг да около. Я приехал поговорить с вами насчет матери. Она... ей очень и очень плохо.

Велешев оперся подбородком на ладонь и крепко сжал его пальцами. И заговорил не сразу.

— И чем же я могу помочь? — спросил он.

— У нее душа болит. То, что произошло, это было затмение какое-то, навязание, что ли... Я это понял и перестал осуждать ее. И теперь ясно вижу, что любила и любит она только вас. И мучается так, что мне... Боязно мне, Павел Андреевич. Может быть, если бы вы... как-нибудь смогли простить ей...

— Как-нибудь я уже простил, — сказал Велешев. И, помолчав, спросил:

— Чем она занимается? В своем агентстве опять?

— Оно теперь уже не ее. Было маминым детищем, но они ее там очень здорово кинули. Беклешин теперь всем заправляет.

— Как же исхитрились-то?

— Хорошо подсуетились, пока она занималась этими проклятыми выборами. Подала в суд — надеется выиграть.

Они опять помолчали, потом Ленька поднял голову и посмотрел Велешеву в глаза.

— Скажите прямо, Павел Андреевич: осталось у вас к ней хоть сколько-то любви или нет?

— Тебе не кажется, Леня, — медленно выпрямился за столом Велешев, — что, задавая такой вопрос, ты и себя, и меня ставишь в очень неловкое положение?

— Да, конечно... — смутился тот. — Простите, Павел Андреевич. Но я потому спрашиваю... Помните, вы мне однажды сказали... Это было, когда мы встретились в первый раз. Вы сказали: дескать, если любишь, то все остальное не имеет значения.

— Хорошо помню. Но ведь речь у нас тогда шла о любви к матери.

— А разве это не относится к любви вообще?

— Ленья, разреши мне тоже немного вмешаться в твоё личное. Скажи, как у тебя с Викой?

— Нормально, Павел Андреевич. Наверное, мы скоро поженимся.

— Так вот, хочу спросить: как бы ты повел себя, если бы Вика поступила с тобой так же, как твоя мама со мной?

— Не знаю... Честно говоря... может, и не простил бы. Павел Андреевич, прекрасно понимаю, что выгляжу перед вами полным идиотом. Поверьте, мне бы и в голову не пришло вести об этом речь, если бы на вашем месте был кто-то другой. Я подумал, что уж с вами-то об этом можно...

— Ленья, дорогой мой... — глянул на него Велешев теплым проникновенным взглядом. — Поверь и ты мне: я очень ценю твоё доверие. Но... честно скажу: не готов я сейчас к решению этой проблемы. Думаю, что в таком случае точную операцию на сердце способен провести единственный врач — время. Вернее — не на одном сердце, на двух.

— Понимаю, Павел Андреевич... — судорожно вздохнул Ленька. — Вы правы. Простите меня. Мне ведь и вас... тоже жалко. И... буду надеяться на все хорошее.

Он поднялся из-за стола, и Велешев спросил:

— Может, все-таки заночуешь?

— Нет, надо ехать. Одной ей будет совсем плохо.

...В последний летний месяц у Велешева появилось ощущение, что работа загоняет его в угол. Донимали проблемы, возникающие в хозяйственных делах, едва ль не через день приходилось проводить операции — вроде бы простейшие, но угнетающие неожиданными сложностями. Было много вызовов на дом в разное время суток. Он даже на природу почти перестал выбираться. Давно не был на “Голгофе”, не навещал Овражную Заводь. И от этого нарастало в душе ощущение ущерба. “Все, хватит. Пойду в отпуск”, — решил он однажды, сидя в своем кабинете. И едва только подумал об этом, как на мобильный телефон ему позвонил Кутенцов, который работал теперь в “Скорой помощи”.

— Павел Андреевич, выручайте! — кричал он в трубку. — Там, на вашем повороте, авария! А у нас машина заглохла — не доехали километра три! Очень прошу: съездите туда, окажите первую помощь!

— Да не ори ты — я хорошо слышу, — сказал Велешев. — Объясни толком, на каком повороте и что надо делать.

— Поворот с шоссе на ваше Поречье. Там автомобильная авария. Женщина-водитель на асфальте лежит. Вроде бы жива, но без сознания.

— Ладно, сейчас выедем.

Велешев положил трубку и вдруг оцепенел, в лицо бросился жар. Ринувшись в коридор, он резко, даже, пожалуй, грубо, чего с ним раньше никогда не бывало, начал отдавать распоряжения.

На сборы ушло минут десять и примерно столько же потребовалось, чтобы домчаться до поворота. Когда ехали, Велешев все еще надеялся, что предчувствие обмануло его. Однако “десятка” с большой вмятиной на боку, стоящая поперек дороги у правой обочины, была темно-зеленой, и у него захолонуло сердце. На левой стороне высился огромный длинный автомобиль-фургон со множеством мощных колес. Валерия с подогнутой под себя ногой лежала ничком на асфальте неподалеку от него. Милиции еще не было, и водитель тяжелой машины сидел на корточках поодаль от Валерии и нервно курил. Увидев людей в белых халатах, он бросился к ним.

— Я уже повернул сюда, — начал бубнить водитель, — а она вылетела с другой стороны шоссе и при повороте-то скорость совсем не сбросила. Короче — не уместилась в поворот. “Жигуленка” занесло, и он боком вмазался в мое колесо — мне в зеркало хорошо было видно. В резину угодил и от-

прыгнул, как мячик, дамочку эту из себя на асфальт вышвырнул. Дверца, что ли, у нее была плохо закрыта... Хорошо, что сразу заглох, а то кувыркнулся бы в кювет. Я, конечно, по тормозам — и к ней. Подбежал, потрогал руку — пульс есть. И сама, чую, вроде дышит. Крови из-под нее не видать. Ну и не стал больше трогать — вдруг, думаю, еще хуже напортишь. Стал звонить в “Скорую”, а уж потом в милицию...

Велешев опустился рядом с Валерией на колени, пощупал у нее пульс и несколько приободрился.

— Давай-ка, Галюша, нашатырным попробуем, — сказал он медсестре.

Та смочила вату, подала ему. От запаха нашатырного спирта Валерия вздрогнула и через несколько секунд открыла глаза. Поначалу взгляд был мутным, невидящим, но постепенно обрел осознанное выражение, и Велешев, подложив под голову Валерии подушку от носилок, спросил:

— Валера, ты меня узнаешь?

— Паша, это ты... — едва слышно прошептала она. — Я опять упала, да?

Он дал ей нюхнуть нашатырного спирта еще раз, она, поморщившись, отмахнулась рукой.

— Я... я... Прости меня. Я без тебя не могу.

— Я без тебя тоже, — ответил Велешев. — Где болит? Что чувствуешь?

— Тяжело. А больше ничего не чувствую.

— А ноги свои чувствуешь?

— Ничего не чувствую.

— Позвоночник... — пробормотал мужской голос за велешевским плечом.

Велешев обернулся — это был Кутенцов, неведомо когда оказавшийся рядом.

— Какой еще позвоночник? — свирепо глянул на него Велешев. — Что ты мелешь?

И вдруг сильно ущипнул бедро Валерии.

— Ой! — сдавленно вскрикнула она. — Больно...

— А сказала — не чувствуешь?! Все ты должна чувствовать! А то позвоночник у них... Ну-ка подними руку!

Валерия медленно подняла руку.

— Есть боль?

— Нет.

— А теперь левую.

Левую руку она не смогла поднять полностью — в плече была сильная боль. Потом он попросил ее поочередно подвигать ногами и уяснил, что имеется травма еще и левого бедра — скорее всего, сильный ушиб.

— Голова гудит, как котел, — едва слышно пожаловалась Валерия. — И... плывет все вокруг. Тошнит...

— Это понятно дело, — сказал Велешев.

На голове Валерии, в волосах выше виска, была широкая ссадина — кровь уже запеклась.

— Вводи обезболивающее, Галя, — приказал Велешев. — На голову стерильную салфеточку и бинт. И на носилки ее, остороженько грузим в машину.

— К себе возьмете? — изобразив осторожную улыбку, спросил Кутенцов. — Приземлилась-то опять же на вашей территории...

— Неужели тебе отдам? — благодушно толкнул его в плечо Велешев. — Слушай, шутник, когда же ты все-таки пополнишься? Худой, как... позвоночник.

— Обижаете, Павел Андреевич.

Милиция тоже уже была здесь — Велешев не заметил ее приезда. Они что-то вымеряли на асфальте рулеткой, записывали в тетрадь. Водитель большегрузного автомобиля, размахивая руками, объяснял подробности аварии. Движение было перекрыто, и на противоположной стороне основного шоссе стояли машины — водители ждали, когда можно будет проехать в Поречье. И глянув туда мельком, Велешев узнал вдруг возле одной из машин Олега Малоярова. Рядом с ним стояли стройная светловолосая женщина и довольно большой уже мальчуган. Все еще не веря себе, Велешев окликнул Олега, замахал ему рукой.

И тот сразу узнал — поднял руку ответно, сказал что-то жене и быстро, почти бегом, устремился через шоссе навстречу.